

С О В Е Т С К А Я Т Ю Р К О Л О Г И Я

АКАДЕМИЯ НАУК СССР



АКАДЕМИЯ НАУК
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР



◆
БАКУ - 1980

5

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

С О В Е Т С К А Я Т Ю Р К О Л О Г И Я

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1970 ГОДУ

Выходит 6 раз в год

№ 5

СЕНТЯБРЬ—ОКТЯБРЬ

БАКУ — 1980

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

**Г. А. АБДУРАХМАНОВ, Э. А. АХМЕТОВ, Н. А. БАСКАКОВ, М. З. ЗАКИЕВ,
С. Н. ИВАНОВ, С. К. КЕНЕСБАЕВ, А. Н. КОНОНОВ, Х. Г. КОРОГЛЫ,
М. К. НУРМУХАМЕДОВ, Б. О. ОРУЗБАЕВА, Г. З. РАМАЗАНОВ,
И. С. СЕИДОВ (заместитель главного редактора), Э. Р. ТЕНИШЕВ, Е. И. УБРЯТОВА,
Б. Ч. ЧАРЫЯРОВ, М. Ш. ШИРАЛИЕВ (главный редактор)**

Ответственный секретарь — Н. Г. НАДЖАФОВ

Адрес редакции: 370143, ГСП Баку-143, просп. Нариманова, 31. Академгородок

СТРУКТУРА И ИСТОРИЯ ЯЗЫКА

А. Н. КОНОНОВ

СЕМАНТИКА И ФУНКЦИИ ГЛАГОЛЬНОЙ СВЯЗКИ turur > -turu/-duru > -tur/-dur > -tu/-du > -t/-d

(СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭТЮД)

Связка *turur* — причастие настоящего-будущего времени от глагола *tur-* 'стоять', 'пребывать', 'жить', 'находиться' в составе ряда глагольных форм постепенно грамматикализовалась, стала, утратив свой первоначальный фонетический облик, подчиняться законам сингармонизма (закону гармонии согласных и закону гармонии гласных) и превратилась в аффикс: *-turu/-duru > -tur/-dur > -tu/-du > -t (-d)* со всеми возможными модификациями входящих в него гласных.

Из истории изучения семантики и функций глагольной связки *turur*. В отечественном тюркском языкознании (как, впрочем, и в мировой тюркологии) наиболее полное описание значений связки *turur* дано в известной «Грамматике алтайского языка» (Казань, 1869)¹, послужившей образцом для целого ряда последующих работ по грамматике тюркских языков.

В разделе этой грамматики, озаглавленном «Употребление глаголов недостаточных: *тыр, емтир*», говорится: «*тыр* в значении повествовательном (то есть в сложных глагольных формах. — А. К.) прилагается к деепричастиям: слитному — для настоящего времени, и к соединительному деепричастию — для прошедшего времени. В значении описательном (то есть в модальном. — А. К.) *тыр* прилагается к причастиям, после которых оно принимает иногда форму *емтир*, т. е. сложение *тыр* с частицей *ем* ('теперь', 'уже')²; в этом же составном виде *емтир* прилагается к именам.

Основное значение *тыр* и *емтир* — есть живое впечатление, какое происходит при чем-нибудь необыкновенном и неожиданном. Таким образом, *тыр* употребляется: а) при действиях невиданных, необыкновенных; б) при действиях неожиданных; в) для выражения чувства радости или печали, когда действие неожиданное или малоожиданное совпадает с желанием или нежеланием лица; г) при передаче событий неправдоподобных, недостоверных, сказочных и сновидений; д) вопрос с глаголом *тыр* выражает не просто требование ответа или осведомление, но вместе чувство удивления, недоумения, раздумья» (стр. 250—253).

¹ См.: Ф. Д. Ашнин. Первая печатная научная грамматика алтайского языка. Проблема авторства. — «Тюркологический сборник. 1975». М., 1978, стр. 34—61.

² По всей вероятности, *емтир* < деепричастие *ем* (е- 'быть') + *-тир* > *емтир* или, что менее вероятно < *емтиш* + *-тир*; ср. азербайджанское: *ал-мы-сан* (< *ал-мыш-сан*). 'ты, говорят, взял' (см. М. Ш. Ширвәлијев. Баки диалекти. Баки, 1957, стр. 86).

Резюмируя это удивительно тонкое наблюдение над семантикой модальных форм на *-тыр, емтір*, следует заключить, что названные формы выражают: действие или явление необычное, неожиданное, недостоверное, заглазное, поразительное по своей неожиданности.

А. Казем-Бек («Общая грамматика турецко-татарского языка». Второе издание. Казань, 1846) не упоминает о модальном значении аффикса *-тыр/-дыр*.

В «Грамматике туркменского языка» (Часть I. Фонетика и морфология. Ашхабад, 1970) отмечается модальная форма прошедшего повествовательного-неопределенного времени на *-андыр/-ендир*, обозначающая прошедшее действие с оттенком предположения, очевидцем которого не был говорящий, или прошедшее действие с оттенком предупреждения, очевидцем которого был сам говорящий: *язандыр* 'может быть, он (на) писал', 'он написал (я предупреждаю об этом)' (стр. 269).

Аффикс *-дыр* входит в состав туркменского:

1) прошедшего-субъективного времени:

яз-ып-дыр-ын 'я (оказывается, кажется, говорят) (на) писал' (стр. 270); ср., однако: — *Эй оглум, мен инди гаррапдырын* 'Эй, сын мой, я теперь действительно постарел' (стр. 271; ср. примеры на стр. 345);

2) настоящего-предположительного времени:

яз-ян-дыр-ын 'я, наверно, пишу';

гел-йэн-дир-ин 'я, наверно, хожу, иду';

яз-ян-дэл-дир-ин / *яз-ма-ян-дыр-ын* 'наверно, я не пишу' (стр. 277—278).

«Модальные формы будущего-категорического времени, — отмечается в указанной „Грамматике туркменского языка“, — образуются сочетанием ее с аффиксами *-дыр/-дир, -мыш/-миш* и словом *экен*. Во втором лице аффикс *-дыр/-дир* часто опускается (*язжакдырсың > язжаксың* 'ты, наверно, собираешься написать', *язжакдырсыңыз > язжаксыңыз* 'вы, видимо, собираетесь написать'), однако придаваемый им оттенок во втором лице (предположение, сомнение и т. д.) сохраняется» (стр. 287). И здесь же приводится пример, русский перевод которого находится в очевидном противоречии со сказанным выше: — *Эже, Мырат, гелжэкдир* 'Мать, должен Мурад прийти' — здесь подтверждающая, а не предположительная модальность.

Кроме того, вне всякого сомнения авторы этой грамматики ошибаются, выводя форму *яз-жак-сың < язжак дыр-сың*; обе эти формы существуют независимо друг от друга; форма с аффиксом *-дыр* — модальная, формы без аффикса *-дыр* — «обычные» формы будущего-категорического времени, так как нет никаких следов полной ассимиляции аффикса *-дыр* в форме *язжаксың < яз-жак-дыр-сың*; ср.: «безличные» формы будущего-категорического времени: *мен язжак* 'я напишу', 'буду писать (непременно)', (стр. 245).

Далее (стр. 344—345) приводятся примеры на сочетание аффикса *-дыр...* со сказуемыми, обозначенными существительными, числительными, прилагательными, местоимениями, наречиями — без указания значений, привносимых этим аффиксом. Из русских переводов примеров можно заключить, что аффикс *-дыр* привносит в лексическое значение сказуемого, выраженного названными частями речи, оттенки утвердительной модальности или модального акцента (логическое ударение!).

Н. К. Дмитриев, рассматривая функции и значение аффикса *-дыр* в башкирском языке, писал: «... в башкирском (и в некоторых других тюркских языках) элемент *-дыр* почти не употребляется в качестве аф-

фикса сказуемости³, а выступает именно как особая частица в специфическом значении (разрядка наша. — А. К.). Прибавляясь к любой именной и глагольной форме в соответствующем этой форме звуковом варианте, частица (! — А. К.) *-дыр* указывает на недостоверность факта или некоторую неуверенность говорящего (разрядка наша. — А. К.). Этот оттенок соответствует русским модальным словам: „говорят, мол, дескать, кажется, вероятно” и т. д. Прибавляя частицу *-дыр* к обычной глагольной форме, говорящий как бы снимает с себя ответственность за реальность сообщаемого факта»⁴.

Точно такое же значение имеет *-дыр* в татарском языке; кроме того, «частица *-дыр/-дер* ... участвует в образовании неопределенных местоимений, например: *кемдер* 'кто-то'...»⁵, *нидер* 'что-то', 'нечто'.

В новоуйгурском языке *-дыр*, *-тыр* сообщает глагольной форме на *-ган* модальный оттенок сомнения, неуверенности: *а(л)Ғадимэн < алҒан-дур(ур) мэн* 'может быть, я взял', 'возможно, что я взял'; *алидигандимэн < ал-а-дур-ған-дур-ур мэн* 'может быть, я возьму', 'может быть, я должен взять'⁶.

В азербайджанском языке прошедшее-повествовательное время представлено двумя формами: *јазмыш//јазмышдыр*, *јазыб//јазыбдыр*: аффикс *-дыр* придает форме 3-го лица некоторый оттенок категоричности⁷.

В современном узбекском литературном языке широко используется модальная форма прошедшего времени, выражающая сомнения, предположение, неуверенность, возникающие вследствие рассудочного или эмоционального отношения, либо экспрессивной оценки высказанной мысли, причем достоверность совершившегося действия оценивается как сугубо субъективно, так и на основе косвенных, позднее выявленных, фактов: *Қорнинг оч-ған-дир*, *арслонтойим*, — *деди кампир* (Ойбек) 'Ты, должно быть, проголодался, мой львенок, — ... сказала старуха'⁸; ср. еще значение *-дир* в составе неопределенных местоимений: *кимдир* 'кто-то', *нимадир* 'что-то'. В узбекском литературном языке до XIX века форма на *-гандир* передавала прошедшее-перфективное время.

В хакасском языке форма прошедшего «заглазного» времени на *-тыр/-тір*: *аңна-п-тыр-бын* 'я, оказывается, охотился' «... обозначает действие, совершившееся в неопределенном прошлом вне наблюдения говорящего. Последний узнает о совершении действия со слов других лиц (момент исторической передачи), или из наблюдений сохранившегося до настоящего времени результата действия (момент следствия), или просто догадывается, сопоставив ряд факторов, косвенно указывающих совершение действия (момент умозаключения)»⁹.

³ Ср.: «Формант *-dur/-tur*, *-tyr/-tir* ни в какой мере не является показателем сказуемости или лица, а представляет собой связку, которая в сочетании со спрягаемым именем или глагольной формой является показателем динамичности или процессности признака, выраженной сказуемым» (Н. А. Баскаков. Историко-типологическая морфология тюркских языков. М., 1979, стр. 242).

⁴ Н. К. Дмитриев Грамматика башкирского языка. М.—Л., 1948, стр. 130.

⁵ «Современный татарский литературный язык». М., 1969, стр. 345.

⁶ Н. А. Баскаков. Система спряжения или изменения слов по лицам в языках тюркской группы. — «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков». II. М., 1956, стр. 275.

⁷ «Грамматика азербайджанского языка». Баку, 1971, стр. 126; см. также: Н. Мирзэзада. Азербайжан дилинин тарихи морфолокијасы. Баку, 1962, стр. 218—219.

⁸ Подробнее об этом см.: А. Н. Кононов. Грамматика современного узбекского литературного языка. М.—Л., 1960, §§ 268—269.

⁹ «Грамматика хакасского языка». М., 1975, стр. 219.

В тувинском языке прошедшее-повествовательное время *-п-тыр*: *ап-тыр мен* (< *ал-ып-тыр мен*) 'оказывается, я взял', 'и вот (вдруг) я беру' «...используется для сообщения о событиях, совершение которых в прошлом говорящий видел сам или о которых он слышал от других. ... говорящий сообщает здесь не только со слов других, но в равной мере — как очевидец или действующее лицо»¹⁰.

Эти важные заключения авторов хакасской и тувинской грамматик о двуплановости значения модальной формы на *-дыр*: 1) заглазное действие, 2) действие, происходившее при участии или в присутствии говорящего, — подтверждаются данными других тюркских языков.

Русскому глаголу «быть» (франц. *être*, нем. *werden*, англ. *to be*, исп. *estar*) в тюркских языках функционально соответствуют глагольная связка *turur* и ее фонетические модификации.

Если для изменения имен по лицам (спряжение) в индоевропейских языках строго обязательно наличие определенной формы глагола «быть»: «я — рабочий» < «я есмь рабочий»; «*je suis ouvrier*», «*I am labourer*», то в тюркских языках спряжение как имен, так и глаголов осуществляется с помощью только личных местоимений: *män al-a-män* 'я беру / я возьму', *män işçi-män* 'я рабочий'.

Связка *turur*, представленная в современных тюркских языках в следующих формах: $-t^{\text{a}}r \neq / -\dot{c}^{\text{a}}r^{\text{a}} > {}^{11} -t^{\text{a}}r / -d^{\text{a}}r > -t^{\text{a}} / -d^{\text{a}} > -t / -d$, используется в составе сказуемостных форм в двух функциях:

1. Привносит в значение исходной глагольной формы особые оттенки, обозначающие способ глагольного действия (*Aktion-sart*), то есть обозначает характер протекания действия: так, например, в тюркских языках настоящее-будущее время (по существу — вневременная форма глагольного сказуемого) изъявительного наклонения выражается в трех формах:

- 1) *al-a + män* 'я беру' (вневременная форма);
- 2) *al-a turu(r) // duru(r) + män* 'я беру', 'я возьму (вероятно)';
- 3) *al-a-dur + män*.

В 3-м лице аффикс $-d^{\text{a}}r$: *al-a-d^{\text{a}}r*, не закрепленный личным аффиксом, разрушается: $-d^{\text{a}}r >$ узб., каз., ккалп. *al-a-du >* алт., кирг. *al-a-t(d)*.

Дублетом формы *al-a turur > al-adyr + män* выступает форма деепричастия на *-y, -i, -u, ü*: *al-y-turur > al-y-dyr + män*.

Глагол *tur-* в сочетании с деепричастиями на *-a/-ä, -y/-i, -u/-ü, -əb* широко используется для обозначения способа глагольного действия, выражающего длительность, продолжительность, непрерывность, постоянство:

узб. *Биз газета ўқиб турамыз* 'Мы постоянно читаем газеты'; тур. *yaz-a / yaz-ır + durmak* 'долго писать', 'пописывать'; в турецком языке глагол *dur-* основам на *-miş, -ar/-er, -di* сообщает указанное выше значение: *...bütün gün koşar dururduk* (О. Kemal) '... весь день мы то и делали, что бегали' / 'весь день мы провели в бегах'¹².

¹⁰ Ф. Г. Исхаков, А. А. Пальмбах. Грамматика тувинского языка. М., 1961, § 437; см также: Э. Р. Тенишев. Строй сарыг-югурского языка. М., 1976, стр. 94.

¹¹ Тофаларское: *al-a-duru; alur turu* 'он берет', см.: В. И. Рассадин. Морфология тофаларского языка в сравнительном освещении. М., 1978, стр. 201.

¹² Подробнее об этом см.: А. Н. Кононов. Грамматика современного турецкого литературного языка. М.—Л., 1956, § 418.

Etil suwı aka turur / Kaya tübi kaka turur / Balık telim baka turur / Kölung taki küşerür (МК—ВА, I, 73¹³; МК—СМ, I, 103¹⁴) 'Воды Волги непрерывно текут / То и дело бьются о подножье скал / Много [там] рыбы и лягушек / Плавни также заполняются [водой]'.

В этом единственном примере из Словаря Махмуда Кашгарского связка *turur* употребляется в двух значениях: в первых двух строчках — *aka turur, kaka turur* — связка сообщает деепричастным формам значение общности, постоянства (то есть выражает способ глагольного действия), в третьей строчке *turur* — обычная глагольная связка 3-го лица единственного числа.

В большинстве тюркских языков кыпчакско-карлукской группы форма типа *al-ub-(mān)* в сочетании со связкой *turur* > *-tur/-dyr* приобретает значение прошедшего длительного, многократного действия, то есть передает один из способов глагольного действия:

al-ub turur mān } 'я брал (всегда, неоднократно, много раз)'.
al-ub-tur-mān }

Ср. сарыг-югурск.: *geludro* 'он приходит (сейчас)' < *gel-üp durur ol*.

Как характерную деталь следует отметить следующий факт: в памятниках тюркской рунической письменности (VII—IX века) связка *turur* и ее фонетические варианты не используются, что является специфической особенностью древнеогузского языка. Позднее — в эпоху Караханидского государства (XI—XIII века) — в поэме Юсуфа Баласагунского «Кутадгу билиг» (1069 год н. э.), написанной на древнеуйгурском языке, связка *turur* широко используется в двух значениях: 1) как формант, сообщающий деепричастной основе значение способа глагольного действия; 2) как обычная глагольная (приименная) связка.

В «Книге гаданий» (*Uḡr bitiy*), язык которой является собой переходную стадию от языка древнеогузского к языку древнеуйгурскому, связка *turur* — в функции показателя способа глагольного действия (обычность, постоянство) — представлена только в одном случае:

*Jajluy taḡuta aḡuraḡ jajlajur turur men*¹⁵ 'Я всегда / обычно провожу лето, поднявшись на мои горные летние пастбища'.

Формы типа: *al-a-turu(r) / -duru(r) + mān; al-a-dur-mān* — в отличие от формы *al-a-mān* — выражают способ глагольного действия; в данном случае они передают действие, осуществляемое регулярно, постоянно, длительно, и как следствие этого — действие, возможное в ближайшем будущем¹⁶.

II. Усеченная разновидность связки *turur* — аффикс *-tur/-dur* (во всех возможных фонетических вариантах) осложняет значение исходной формы различными субъективно-модальными значениями.

Формы модальности на *-dir* в современном турецком языке здесь не рассматриваются, им посвящена специальная статья автора¹⁷.

Под термином субъективная модальность условимся понимать глагольные и именные формы сказуемого, указывающие на характер отношения говорящего к содержанию высказывания и отношения содержания высказывания к действительности, которые реализу-

¹³ «*Divanü Lûgat-it-Türk tercümesi*». Çeviren: Besim Atalay. Cilt I. Ankara, 1939, стр. 24 (в дальнейшем: МК—ВА).

¹⁴ Махмуд Кошгарий. Туркий сўзлар девони (Девону луготит турк). Таржимон ва нашрга тайёрловчи С. М. Муталлибов. I том. Тошкент, 1960, стр. 61 (в дальнейшем: МК—СМ).

¹⁵ С. Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности. М.—Л., 1951, стр. 84, строка 96.

¹⁶ Ш. Шукуров. Узбек тили феъл замонлари таракқиёти. Тошкент, 1976, стр. 99—103.

¹⁷ См.: «Советская тюркология», 1980, № 3.

ются с помощью соответствующих сложных глагольных форм¹⁸, выражающих модальность подтверждения: «он, конечно, идет к нам», «он, конечно, придет к нам», «он, конечно, должен прийти к нам», модальность предположения: «он, по-видимому, идет к нам», объективную модальность, выражающую законченное действие с продолжающимся результатом (Perfectum logicum): «он пришел к нам (и сейчас находится у нас)». Последнее значение семантически граничит со способом глагольного действия (см. выше).

Кроме того, аффикс $-d^2g$ (его фонетические варианты), указательно-подтвердительная частица ($>$ указательное местоимение) ol (см. стр. 10) в сочетании с подлежащим, а также с обстоятельством, являются показателем модального акцента (логического ударения): тур. *Bir fakirliktir başladı* (S. Etem) 'И вот бедность началась'; *İki gün-dür birşey uememişti* (O. Seyfettin) 'Вот уже два дня, как он ничего не ел'¹⁹. Ср. пример из Словаря Махмуда Кашгарского: *bu butak ol egilgen*, который на современный турецкий язык следует перевести: *bu daldır daima eğilir* 'Именно эта ветка всегда/постоянно гнется'.

Слияние в единой форме на $-d^2g$ (на ol) трех разнородных значений: осторожная предположительность — решительное утверждение — логическое ударение — объясняется природой глагольных форм, различающихся синтезированных и сопряженных значений²⁰.

Синтезирование находит свое выражение в том, что один и тот же формант способен передавать ряд грамматических значений разных самостоятельных категорий (например, значение лица, числа и принадлежности у тюркских посессивных аффиксов; лица, числа и склонения в формах повелительного склонения и т. п.).

Сопряженность разных — иногда полярных — значений «в одной форме (категории) состоит в том, что в каждой конкретной форме разные типы сосуществуют нерасчлененно, в диалектическом единстве, и не могут быть оторваны полностью друг от друга»²¹, примером чему служит прошедшее время на $-γ/-k^2n$ и на $-туз$ в сочетании со связкой $turur > -tur$ или без нее.

Огузский аффикс $-мыш$ в каракалпакском ($-мыс/-міс$), узбекском ($-миш < эмиш$), казахском ($-мыс/-міс$) перешел (в народно-разговорном языке) в разряд частиц, осложняющих основное значение исходной глагольной формы оттенками предположительности: *Одан кейин ҳилл-қызлар азатлыққа шығады-мыс* 'Говорят, что после этого женщины получают свободу' (ккалп. Подробнее об этом см.: К. Амиралиев. Семантико-грамматические функции частиц тюркских языков. Автореф. канд. дисс. Алма-Ата, 1980, стр. 17).

Причастие на $-γ/-k^2n$, — состоящее из глагольного прилагательного на $-γ/-k$ + общеалтайское причастие ~ деепричастие на $-2n$, — специфически присуще кыпчакско-карлукской группе тюркских языков, используется в следующем оформлении:

1. $al-γan-tān$ 'я, кажется, взял',
2. $al-γan + turur/durur tān$ } 'я, конечно, взял'.
3. $al-γan-tur/-dur tān$ }

¹⁸ Специальные модальные слова и интонация используются только для уточнения характера и значения модальности.

¹⁹ Подробнее см.: А. Н. Кононов. Грамматика современного турецкого литературного языка, §§ 606, 777.

²⁰ В. Н. Ярцева. Иерархия грамматических категорий и типологическая характеристика языков. — В сб.: «Типология грамматических категорий». М., 1975, стр. 15.

²¹ Х. Г. Нигматов. Морфология языка восточно-тюркских памятников XI—XII веков. Автореф. докт. дисс. Баку, 1978, стр. 40.

В 3-м лице используются три формы:

- (ol) al-yaп 'он, по-видимому, взял',
 (ol) al-yaп turur > -turur/-duru > -du(r) } 'он, конечно, взял'.
 (ol) al-yaп ol }

Формы типа al-yaп + turur/durur-män > al-yaп-tur/-dur-män в узбекском языке образуют прошедшее-заглазное время, выражающее сомнения, предположения, неуверенность, возникающие на основе рассудочного или эмоционального отношения или экспрессивной оценки высказанной мысли, причем достоверность совершившегося факта оценивается сугубо субъективно, или на основе косвенных, позднее выявившихся фактов. Для энергичного подчеркивания указанных оттенков используются специальные модальные слова: bälki 'может быть', 'пожалуй', 'возможно', ehtimal/ihtimal 'возможно', 'вероятно' и др.

Значение предположительности, неуверенности и т. п. (см. выше) в формах -ган + -дир в узбекском языке отчетливо стало проявляться в прозаических произведениях, начиная с XIX века. В староузбекском языке эти формы (-ган + -дир) обозначали прошедшее-перфективное время с продолжающимся результатом: Самарқандны Искандар бина қылган дур, моғул ва турк улусы «Семизкент» дэрлэр (Бобир-намэ)²² 'Самарканд построил Александр [Македонский], монголы и турки [его] называют «Семизкент»' (народная этимология: «жирный, тучный > большой город»).

В современном узбекском литературном языке, в зависимости от общей обстановки высказывания, форма указанного типа нередко соответствует по своему значению прошедшему-категорическому времени, осложненному оттенками перфективности, что нередко подкрепляется соответствующими модальными словами: albatta 'конечно', 'непременно', muhakkak 'обязательно' и т. п.²³

Н. А. Баскаков значение модальной частицы или связки -dur/-tur (< turur) выводит из семантики причастия на -²r: «alagman (alurmyn) 'я обычно, вообще, беру, я постоянно, всегда беру, я имею стремление, пристрастие брать', а, следовательно, 'я буду брать вообще' и т. о. 1) 'я буду определенно брать — я возьму' и 2) 'я, может быть, возьму (так как вообще беру)' и пр. Отсюда понятна и семантика модальной частицы или связки -dur/-tur, с одной стороны, имеющей значение утверждения бытия, а с другой стороны, — значение относительной вероятности данного суждения»²⁴.

Деепричастие на -a/-ä в сочетании с причастием на -y/-k-п от глагола tur- 'стоять' образует форму настоящего-будущего времени, осложненную оттенками долженствования, необходимости совершения действия, обозначенного исходной основой (один из способов глагольного действия): уйг. al-a-turyaп > узб. al-a + digän > ккалп. al-a + tuyp > ног. al-a + taуап > каз. al-a-tyn > алт. al-a-tan 'долженствующий взять', 'берущий'²⁵.

Причастие будущего времени на -yü, -gü, -qu, -kü в сочетании с аффиксами принадлежности (= показатели лица) передает действие, осуществление которого ожидается в будущем:

²² Ш. Шукуров. Указ. раб., стр. 33.

²³ А. Н. Кононов. Грамматика современного узбекского литературного языка, §§ 268—269.

²⁴ Н. А. Баскаков. Историко-типологическая морфология тюркских языков, стр. 245.

²⁵ Там же, стр. 244.

1. al-γu-m 'я возьму'
2. al-γu-η
3. al-γu-su

1. al-γu-muz 'мы возьмем'
2. al-γu-ηuz
3. al-γu-su-lar
al-γu-lary
al-γu-su.

Эту же форму в сочетании с глагольной связкой *turur* (и ее фонетическими вариантами) обычно называют будущим-категорическим временем²⁶, обозначающим необходимость, возможность, несомненность совершения действия, названного исходной основой (= способ глагольного действия): *alγum turur/durur* > *-turu/-duru* > *-tur/-dur* 'я должен / мне надо / мне необходимо взять'; 'я непременно возьму'.

При этой форме в качестве спрягаемой связки выступает глагол *kel-/gel-* 'приходить': *alγum kelir* 'я хочу взять'; ср. тур.: *seni göreceğim/göresim geldi* 'я очень хотел видеть тебя'²⁷.

Отрицательная форма причастия на *-γu*: *al-ma-γu-m/al-ma-γu-m turur/al-γu-m uoq* — вторая и третья формы отличаются от первой категоричностью отрицания: 'я не собираюсь / я не желаю брать'.

В Словаре Махмуда Кашгарского (XI век) связка *turur* представлена в сочетании:

1) с именными формами сказуемого; в данном случае связка *turur*, как отмечает Махмуд Кашгарский, соответствует арабским словам *يدع* и *ينر*, то есть выражает подтверждение, утверждение:

ol ewde turur (МК—ВА, III, 181; МК—СМ, III, 196) 'он, действительно, находится дома';

er sökel turur (МК—ВА, III, 181; МК—СМ, III, 196) 'мужчина, действительно, болен';

2) с будущим временем на *-daçy/-deçi*:

ol er et togramadaçy turur = 'o adam et doğramayıcıdır' (МК—ВА, III, 316); '*у одам эшит тўғрамайдиғандир*' (МК—СМ, III, 330) 'Тот мужчина не собирается крошить мясо'.

В Словаре Махмуда Кашгарского форма на *-γ/-k^hn* в функции *Verba finita* в 3-м лице используется в двух видах:

1) без оформления 3-го лица:

ol er ol ewge baragan (турецкий перевод: 'O adam evine çok giden-dir'; узбекский перевод: '*У одам уйига кўп борадиган/бораверадиган*') 'Тот самый мужчина часто ходит [к себе] домой'; ср.: ДТС, 366.

Слово *ol*, довольно часто встречающееся в Словаре Махмуда Кашгарского, в подобных примерах выступает в двух значениях: в препозиции — указательно-личное местоимение 'тот'/он'; в постпозиции — подтверждающая частица, функционально соответствующая аффиксу *-dug* (см. стр. 8): *bu butak ol egilgen* = 'Bu dal²⁸ daima eğilir' (МК—ВА, I, 159); '*Бу новда доим эгилиб турадиган*' (МК—СМ, I, 174) 'Именно эта ветка всегда/постоянно гнется'; *bu neng ol bizqe kereklig* = 'Bu nesne (= nesnedir. — А. К.) bize gereklidir' (МК—ВА, I, 509); '*Бу бизга керакли нарсалардандир*' 'Эта именно вещь нужна нам';

2) 3-е лицо оформляется указательно-личным местоимением:

²⁶ См., например: J. Eckman. Chagatay Manual. Indiana University Publication. 1966, Uralic and Altaic series, vol. 60, § 117; PhTF, стр. 132, 155—156; А. Н. Кононов. Грамматика современного узбекского литературного языка, §§ 287—288.

²⁷ А. Н. Кононов. Грамматика современного турецкого литературного языка, § 506.

²⁸ Точнее по-турецки было бы: *Bu daldır daima eğilir*.

ol ewge baragan ol²⁹ 'O kimse daima evine gidendir' (МК—ВА, I, 33); 'У одам уйига ҳадеб кетаверадиган' (МК—СМ, I, 69) 'Он всегда/постоянно ходит в [этот] дом'.

Ol в предикативной функции целиком соответствует аффиксу -dir:

ol munda ol = 'O buradadır' (МК—ВА, I, 419—420) 'Он, действительно, здесь' — и служит для обозначения лица или предмета, в отношении которых что-то утверждается, подтверждается: ol mening oglum ol = 'O gerçekten benim oğlumdur' (МК—ВА, I, 37); 'У ҳақиқатан менинг ўғлимдир' (МК—СМ, I, 73) 'Он, действительно, мой сын';

ol ewge barmış ol = 'O gerçekten eve varmıştır' (МК—ВА, I, 38); 'У уйга ҳақиқатан боргандир' (МК—СМ, I, 73) 'Он, действительно, пошел домой'. Ср.: ewge barmış = 'benim haberim olmadığı halde eve gitmiş' (МК—ВА, II, 59); 'Уйги борган эмиш (менинг эшитимча)' (МК—СМ, II, 63) = 'Он, кажется/говорят/по-видимому, пошел домой'. Ср. еще: ol

ewge barıgsak ol = 'o adam eve gitmek istegindedir' (МК—ВА, II, 55); 'У уйга боришни истовчидир' (МК—СМ, II, 59), 'Он, действительно, решил/(за)хотел пойти домой'; ol er ol ewge barıgsak = 'O adam (= O adamdır. — А. К.) evine gitmeyi kurmuştur, hep onu diliyor' (МК—ВА, I, 24); 'У одам уйга боришга интилувчи, истовчидир' (МК—СМ, I, 61), 'Этот именно человек, по-видимому, решил/(за)хотел пойти домой'.

Бесим Аталай и С. Муталлибов (следуя арабскому эквиваленту Махмуда Кашгарского) в своих переводах указанного примера не отражают разницы между barıgsak ol и barıgsak. Ср. еще древнеуйгурский пример: Bu nişan mäpiñ ol 'Этот знак — мой'³⁰; в современном турецком языке этот пример выглядит так: Bu nişan benimdir; ср. тув.: бо кымыл (< кым ол)? 'это кто?'; тарааны кажан кезерил (< кезер ол)? 'когда косят сено?'³¹. К сожалению, авторы этой грамматики не объясняют значения ol в подобных конструкциях.

Указательное-личное местоимение ol состоит из указательного местоимения (указание на предмет, удаленный от говорящего) o + дейктическая усилительно-подтвердительная частица l; ср.: bol/bul < bo/bu + l; oşol/uşul — şol/şul < oş/uş (~ şo/şu) + l. Дейктическая частица обнаруживается в составе усилительно-подтвердительной частицы la: ol bardı la = 'o gitti be'; ol keldi la = 'o geldi be' (onun gitmesi tahakkuk etti ve onun gelmesi tahakkuk etti) anlamlarındadır (МК—ВА, III, 213; МК—СМ, III, 231). Модальное утвердительное значение указательное-личное местоимение ol/ul получило в системе времени изъявительного наклонения чулымско-тюркского языка свое новое развитие: мән турубулум (< тур-уб-ул-ум) 'я стою', сан турубулсун; ол турубул³²; ср. форму типа тур-уб-ман, широко используемую для выражения прошедшего (неочевидного, заглазного) времени³³.

В кыпчакско-карлукских языках используется также глагольная форма, состоящая из деспричастия на -^{2b} + показатели лица, — именуемая как прошедшее-субъективное//прошедшее-заглазное время, соответствующее огузской форме на -туş (без аффикса -дуг) и кыпчакско-

²⁹ Так говорят тюрки: огузы же и кыпчаки говорят: baragan ol (МК—ВА, I, 33).

³⁰ С. Е. Малов. Указ. раб., стр. 208; еще примеры см. там же, стр. 210, строки 18, 19, 20, 21; стр. 213, строки 29, 30, 31, 32.

³¹ Ф. Г. Исхаков, А. А. Пальмбах. Указ. раб., стр. 223; см. еще там же, стр. 359—360.

³² «Языки народов СССР». Том II. М., 1966, стр. 451; По Р. М. Бирюкович (см.: Р. М. Бирюкович. Строй чулымско-тюркского языка. Автореф. докт. дисс. М., 1980, стр. 14), среднечулымская форма парыбыл 'он идет' < парып о:лур > парыбол ~ парыбыл 'иду (потихоньку)' — следует: 'идет'.

³³ А. Н. Кононов. Грамматика современного узбекского литературного языка, §§ 270—271.

карлукской форме на $-\gamma/-k^{2p} + -d^{2r}$ ³⁴: $al-yb + man = al-myš + \underline{m}$ 'я оказывается, кажется, говорят, взял/брал'.

Формы типа $alubman$, в зависимости от обстановки высказывания и контекста, имеют также значение прошедшего-перфективного времени, то есть в этом случае соответствуют огузской форме на $-m^{2š} + -man$.

В 3-м лице форма на $-^{2b}$ используется в значении *Verba finita* и обязательно (для уточнения значения и грамматической функции) оформляется модальным элементом $turur > -t^{2r}/-d^{2r}$: $al-yb turur > -dur$ 'он взял, оказывается'.

В поэме Юсуфа Баласагунского «Кутадгу билиг» (1069 год) формы на $-yan + turur$ нет, вместо нее в значении прошедшего-перфективного времени используется «огузская» форма $-miš + turur$, в единичных случаях $> -tur$: ... *atı çavı ajunda yayılmıš turur* (A 28)³⁵ 'Слава и [добрая] молва о нем распространилась [по всему] миру'; ... *türkçe bir at birmiš turur* (A 31) 'Он дал [ему] тюркское имя'.

Кроме того, связка $turur$ сочетается:

1) с причастными формами на $-^{2a}$ $gli, -gu, -gü, -ku, kü; -maz, -mâz$, сообщая лексическому значению их основ окраску утвердительной модальности:

keligli turur kut yana barguçı (550)³⁶ 'Счастье, которое вот-вот должно было прийти, опять уйдет';

töğümüš neng erse yokalgu turur (692) '[Все] родившееся должно погибнуть';

tuta bilse devlet tezümez turur (713) 'Если сумеет завладеть счастьем, оно не сможет убежать [от тебя]';

2) с деепричастными на $-u, -a$ (единичные примеры) выражает обычность, постоянство действия:

bagu turgu künde aning karpingı (4161) 'Каждый день он должен ходить в его жилище';

sanga men kerekıng baka turga men (541) 'За всем необходимым тебе я постоянно буду присматривать';

3) с именными формами сказуемого:

kıši köngli tüpsüz tengiz teg turur (211) 'Сердце человеческое подобно бездонному морю';

4) в самостоятельном значении:

bu yırde turur men... (6050) 'Я живу на этой земле'.

Приведенные примеры дают основание утверждать, что связка $turur$ (и ее фонетические варианты), как и дейктическая частица ol (при сказуемых формах), не являются структурным, то есть органически необходимым компонентом спрягаемой формы; они осложняют значение сказуемой формы обозначением способа действия — характером протекания действия (при глагольном сказуемом) или особой — утвердительной или предположительной — модальной окраской состояния лица-предмета (при именном сказуемом).

Все изложенное позволяет сделать следующий важный вывод: наличие форм типа $bar-a-du(r)$ 'он идет/придет', $bar-miš-tur//bar-yan-du(r)$ 'он ушел', $bar-ur-tu(r)$ 'он, кажется, ходил'; ср.: *ишчи-ди(p)* 'он рабочий' есть явление вторичное, в том смысле, что первоначально 3-е лицо особым показателем лица не оформлялось, ибо в этом не было ни-

³⁴ Ш. Шукуров. Указ. раб., стр. 58—59.

³⁵ Цит. по: R. R. Arat. *Kutadgu bilig*, I. Metin. Istanbul, 1947.

³⁶ Примеры взяты из «Кутадгу билиг».

какой необходимости: 3-е лицо является базой для образования первых двух лиц. Подтверждением сказанному служит также следующее весьма весомое обстоятельство: личные местоимения, функционирующие как личные показатели, представлены только в первом и во втором лице единственного и множественного числа. Личного местоимения третьего лица не было: оно заменялось дейктической частицей *ol* (см. выше), или, как, например, в тувинском языке, именами существительными *кижи* 'человек', *чүве* 'вещь', 'предмет' и т. п., функционирующими в качестве определяемого в конструкции, определением в которой выступает причастная форма: *ажылдаар кижил мен* 'я работаю' (букв.: 'работающий человек я'); *ол бистиинге хүннүң келир чүве* 'он к нам ежедневно приходит' (букв.: 'он к нам ежедневно приходящий предмет'); ср.: *ол ажылдап тур* (< *турур*) *ол* 'он работает'.

Позднее 3-е лицо — база спрягаемой формы — по аналогии с первыми двумя лицами стало оформляться модальными формантами (*turug, ol*), утратившими свое первоначальное значение и служившими лишь для выравнивания парадигмы: все лица, таким образом, получили оформление.

Оформление 3-го лица в определенных случаях поддерживалось также необходимостью защиты смысла; формы типа *bag-a, bag-ur (b)* являются деепричастиями, используемыми для обозначения характеристики действия в обстоятельственной функции.

Наряду с так называемым «личным» спряжением, то есть осуществляемым с помощью личных аффиксов, в отдельных тюркских языках, — например, в сарыг-югурском, саларском, в диалектах татарского языка (ср. туркм. *мен алжак; мен алмалы*) — используется, условно говоря, «безличное» спряжение, при котором спрягаемая форма (основа) не снабжается показателем лица; спряжение осуществляется только с помощью личных местоимений, предшествующих (на правах подлежащего) спрягаемой форме: *men alıan, sen alıan, ol alıan; men alıg, sen alıg, ol(l) alıg; men pylyt, 'я знаю', sen pylyt, ol pylyt; men aldyq, sen aldyq, ol aldyq* (МК—ВА, II, 61—62; МК—СМ, II, 64—65).

Приведенные примеры дают достаточное основание утверждать, что связка *turug* (и производные от нее формы), равно как и частица (> местоимение) *ol*, не являлись первоначально необходимым структурным элементом в образовании спрягаемых форм; они выполняли служебную роль, выражая, как правило, способы глагольного действия в особых формах его выражения — от категорического утверждения до решительного сомнения в возможности совершения действия.

ЯЗЫКОВЫЕ СВЯЗИ

В. Д. АРАКИН

О ТЮРКИЗМАХ В ЯЗЫКЕ НОВГОРОДСКИХ ГРАМОТ НА БЕРЕСТЕ

Берестяные грамоты, обнаруженные в начале 50-х годов Новгородской археологической экспедицией под руководством А. В. Арциховского, раскрыли перед исследователями ранее неизвестный и не нашедший отражения в других письменных памятниках совершенно новый мир. Берестяные свитки рассказали о жизни и быте древних новгородцев, донесли до нас их мысли и чувства, характерные приметы далекого прошлого русского народа.

Древние грамоты являются также ценнейшим источником для изучения живого русского языка XII—XV веков. Любопытно, например, что «цокание», то есть замена звука [ч] звуком [ц], наблюдаемое и в современном новгородском говоре, было распространено уже в период написания грамот. Записанные в грамотах на бересте многие слова, хорошо известные в современном русском языке, нередко имеют значительные фонетические и семантические отличия.

Анализ лексического состава грамот на бересте позволил установить в нем наличие нескольких слов тюркского происхождения. Это обстоятельство прямо указывает на их освоение древнерусским языком. Дело в том, что контакты новгородцев с тюркоязычными этническими группами были значительно слабее контактов с ними жителей Киевской Руси, и поэтому лексика тюркского происхождения обычно усваивалась новгородцами не непосредственно из самих тюркских языков, а лишь через посредство языка Киевской Руси. Таким образом, слова тюркского происхождения, прежде чем проникнуть в бытовую речь новгородцев, должны были быть до этого ассимилированы южнорусскими диалектами и, следовательно, войти в словарный состав древнерусского языка.

Остановимся на этих тюркизмах, приводимых ниже в алфавитном порядке.

Каракулый 'буро-пегий (о масти лошади)'. Это слово не отражено в словаре И. И. Срезневского. Оно впервые зафиксировано в берестяной грамоте под номером 354: «...Да пошли 2 кози корякулю, пятень, польсти, веретища, михи и медвидно»¹.

Прилагательное *каракулый*, приведенное в словаре В. Даля со значением «темно-гнедой с подпалинами»², восходит к двум тюркским сло-

¹ А. В. Арциховский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1958—1961 гг.). М., 1963, стр. 45.

² В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. II. М., 1881, стр. 90.

вам: *kaqa* 'черный' и *kula* 'буланный (о масти лошади)'³, зарегистрированным в словаре Махмуда Кашгарского и распространенным в современных тюркских языках со значением «рыжий» (в турецком), «буланный», «саврасый» (в татарском, башкирском, алтайском и др.). Нам не удалось обнаружить в тюркских языках сложного прилагательного *kaqakula*. Лишь в алтайском языке имеется существительное *kaqakula* со значением «лев», возникшее, очевидно, как отражение в этом названии рыжеватой окраски львиной шерсти. Этот факт позволяет предполагать возможность совместного употребления двух простых прилагательных *kaqa* и *kula* для обозначения соответствующей масти лошади — *kaqa kula at*, что могло легко быть воспринято русскими как одно слово *kaqakula*, переделанное в *каракулый*.

Цитированная грамота на бересте по своим стратиграфическим показателям отнесена археологами к середине XIV века, точнее к периоду между 1340—1369 годами. То, что рассматриваемое прилагательное зафиксировано в грамоте, написанной простым человеком, пользовавшимся живым разговорным языком, указывает на достаточно прочную ассимиляцию этого слова в речи жителей Новгорода, как отмечалось выше, менее других территорий Руси той эпохи, связанного с тюркскими народами. Отсюда следует, что прилагательное *каракулый* должно было войти в русский язык намного десятилетий раньше письменной фиксации его в рассматриваемой грамоте. В то же время вряд ли можно допустить появление этого слова в русском языке вскоре после образования Золотой Орды в сороковых годах XIII века, поскольку экономические связи Руси с этим государством, в основном, сводились к контактам с баскаками и другими ханскими чиновниками, собиравшими дань, и не касались коневодства. Поэтому, по всей видимости, слово *каракулый* проникло в русский язык в тот период, когда в русских степях обитали кыпчаки-половцы, с которыми жители Киевской Руси не только воевали, но и поддерживали активные торговые отношения. Как отмечает известный исследователь истории Золотой Орды А. Ю. Якубовский: «Поволжье, а вместе с ним и половецкая кочевая степь, вели почти не прекращавшуюся торговлю с русскими княжествами, лежавшими по бассейну как Днепра и его притоков, так и Оки»⁴.

Таким образом, слово *каракулый* впервые, как до сих пор считалось, отраженное в грамоте 1518 года⁵, проникло в русский язык из половецкого значительно раньше — в период XII—XIII веков — и было зафиксировано в берестяных грамотах еще в середине XIV века⁶.

Лошак 'помесь жеребца и ослицы'⁷. Корень этого слова восходит к половецкому слову *alaša* 'мерин', широко распространенному также и в других тюркских языках. В русский язык оно вошло, вероятно, еще до XII века, так как впервые слово «лошадь», образованное, видимо, из сочетания *alaša + at*⁸, встречается в речи Владимира Мономаха перед походом на половцев в 1103 году⁹.

³ «Древнетюркский словарь». Л., 1969, стр. 464.

⁴ Б. Д. Греков, А. Ю. Якубовский. Золотая Орда и ее падение. М.—Л., 1950, стр. 27.

⁵ См.: М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. 2. М., 1967, стр. 191—192.

⁶ См.: А. В. Арциховский. Указ. раб., стр. 45.

⁷ «Толковый словарь русского языка». Под редакцией проф. Д. Н. Ушакова. Т. II. М., 1938, стб. 94.

⁸ Н. К. Дмитриев. О тюркских элементах русского словаря. — В кн.: Н. К. Дмитриев. Строй тюркских языков. М., 1962, стр. 540.

⁹ «Полное собрание русских летописей». Т. I. Л., 1962, стр. 277.

Слово «лошак» в древнерусских памятниках впервые приводится, согласно данным И. И. Срезневского, в 1270 году¹⁰. Это слово встречается также в берестяной грамоте № 69: «От Тереньтея к Михалю. Пришлить лошакъ съ Яковъцем. Поедутъ дружина Савина надь...»¹¹. Как отмечает А. В. Арциховский, эта грамота датируется XIII веком. Палеографический же анализ, то есть исследование способа написания звука [у] (как простого «у», а не через «оу» или лигатуру), позволяет гипотетически отнести грамоту к XII веку¹².

Любопытна семантика слова *лошак*, крайне редко встречающегося в современном русском языке. Трудно предположить, что в древнем Новгороде использовались домашние животные этой гибридной породы, ибо они могут существовать лишь в условиях теплого климата. Вероятно, под словом *лошак* автор берестяного письма подразумевал обычного коня, поскольку оно по своему грамматическому оформлению обозначает жеребца и тем самым противостоит слову «лошадь», по своему грамматическому оформлению равноценному «кобыла».

Товар 'имущество, товар'. Это слово имеет сложную этимологию. В форме *tabar* оно представлено в тексте памятника Моюн-чуру (середина VIII века н. э.) в значении «имущество»: ...*anta otrü türgäš qarluqıy tabarın alır...* (М. Ч., 29) '...после этого я разгромил тюргешей и карлуков и захватил их имущество...' В форме *tavar* с тем же значением это слово встречается у Махмуда Кашгарского и в уйгурских текстах IX—X веков.

В современных тюркских языках данное слово распространено достаточно широко: ср. тур. *davar* 'мелкий рогатый скот'//тат. *tuar* в сочетании *mal-tuar* 'животные', 'скот'; алт. *tabar* 'товар' и т. д.

Общим значением слова *товар* является «имущество». Аналогичные значения приведены и у В. В. Радлова: 1) товар, имущество, 2) домашние животные, скот, преимущественно овцы¹³.

Л. Будагов фиксирует следующие значения этого слова: 1) шелковая материя, атлас; уйг. шелковая камка; 2) джаг. скот¹⁴.

В русских письменных памятниках слово *товар* появилось в конце X века: «Володимиръ же приде въ товары (и) посла бирючи по товаромъ глаголя нету ли такого мужа иже бы ся ял с... Печенежином...»¹⁵. В этом тексте Лаврентьевской летописи слово «товары» обозначает «военный лагерь». Несколько позднее данное слово принимает значение «обоз»: «Товары своя (поставки) на Рудици, вечеру же бывшую приде в товар свой»¹⁶.

Таким образом, слово *товар* в русских летописях имеет совершенно иное значение, не представленное ни в одном из древних или современных тюркских языков.

Этот факт позволяет считать, что между тюркским словом *tavar* 'военный лагерь' и русским заимствованным словом *товар* 'имущество, добро' отсутствует какая-либо этимологическая связь. Это две различ-

¹⁰ И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. II, М., 1958, стр. 48.

¹¹ А. В. Арциховский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1952 года). М., 1954, стр. 72.

¹² Там же, стр. 73 и след.

¹³ В. В. Радлов. Опыт словаря тюркских наречий. Т. III. СПб., 1905, стр. 985.

¹⁴ Л. З. Будагов. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. Т. I. СПб., 1869, стр. 382.

¹⁵ «Полное собрание русских летописей». Т. I. Л., 1926—1928, стр. 122, 42 об.

¹⁶ Там же, стр. 258, 87.

ные словарные единицы, два омонима, восходящие к двум разным источникам.

Для определения этих источников следует руководствоваться не только звуковой формой данных слов, но и исходить из историко-культурного контекста, как об этом писал еще Н. К. Дмитриев¹⁷.

Слово *товар* в значении «военный лагерь», впервые употребленное в русской летописи в конце X века, должно было проникнуть в русский язык значительно раньше. Как известно, в X веке контакты русских с печенегами имели главным образом военный характер. Печенегами, согласно летописям, были заняты в X и XI веках обширные степные пространства от нижнего течения Дона до низовьев Дуная. Основным их имуществом было кочевое скотоводство и, следовательно, прежде всего их имущество составлял скот. Русские вступали в различные контакты также с хазарами и волжскими булгарами. С последними, начиная с X века, велась довольно активная торговля.

Таким образом, слово *товар* в значении «военный лагерь» могло быть заимствовано из одного из трех языков — печенежского, хазарского или болгарского. Однако оснований для предположения, что слово *товар* в языке печенегов имело значение «военный лагерь» нет, ибо ни в древнетюркских источниках, ни в современных тюркских языках слово *tavar/tağar* с таким значением не встречается.

С другой стороны, в венгерском языке имеется слово *tábor* 'лагерь', входящее в разветвленную лексическую группу, что указывает на длительную эволюцию этого слова. Можно предположить, что древнерусское слово *товар* со значением «военный лагерь» является заимствованием из древневенгерского через посредство печенежского языка. Известно, что Ю. Немет также высказал мысль об исконности венгерского слова *tábor*¹⁸. Примечателен тот факт, что к концу XII века слово *товар* в значении «военный лагерь» почти полностью вытесняется из русского языка славянским словом «стан»¹⁹.

Вторым словом-омонимом, проникшим в русский язык, следует считать слово *товар* в значении «имущество», «товар», зафиксированное в летописи XII века. Эти значения вполне соответствуют семантике данного слова в тюркских языках того времени.

Проникновение слова *товар* в указанном выше значении в древнерусский язык относится к эпохе развития довольно активных контактов русских с булгарами и особенно с половцами. Как отмечает А. Ю. Якубовский, торговые и культурные связи Поволжья с Востоком были в эту эпоху развиты весьма сильно²⁰.

На наш взгляд, проникновение второго слова-омонима в древнерусский язык является прямым следствием развития торговых связей киевлян с половцами. Именно поэтому слово *товар* начинает употребляться в XII веке в значении «имущество, добро».

С образованием Владимиро-Суздальского княжества в X—XIII веках русские земли приблизились к границам Булгарского государства, что привело к установлению между ними торговых отношений. Из летописей известно о хождениях владимирцев в Волжскую Булгарию за

¹⁷ Н. К. Дмитриев. О тюркских элементах русского словаря, стр. 509.

¹⁸ J. Németh. Die Herkunft des Ungarischen Wortes Tábor. — «Acta Linguistica Hungarica», Bd. 5, 1955, стр. 224.

¹⁹ Ф. П. Сороколетов. История военной лексики в русском языке XI—XVII вв. Л., 1970, стр. 195.

²⁰ Б. Д. Греков, А. Ю. Якубовский. Золотая Орда и ее падение, стр. 25.

«житом» и другими товарами, в том числе за солью. Поэтому правомерна точка зрения Н. К. Дмитриева, полагавшего, что русское слово *товар* восходит к чувашскому *távar*, представляющему собой результат последовательного фонетического развития функционировавшего, вероятно, и в болгарском языке тюркского слова *tuz* 'соль'; ср. др.-тюрк. *tuz* 'соль'//тур. *tuz*, тат. *toz* и т. д. По своему звуковому оформлению это слово могло совпадать с половецким словом *tavar*, что способствовало укреплению его в указанном значении.

Слово *товар* встречается несколько раз в двух новгородских грамотах — № 107 и № 165, датированных по стратиграфическим показателям XII веком: «...хоцьши... поит... цьто ти товара во роукахо...» (грамота № 107)²¹; «От Михаля ко Стъпану а товаро продаде...» (грамота № 165)²²; «... у Шила и былы на Сто... въ добрь и товар во хъ... вль бес пецали буди» (грамота № 352, XIII век)²³; «Науму Семенова. Хто мое целование не надоби... побегла во Немьце, а товару...» (грамота № 44, конец XIV века)²⁴.

Анализ текста этих грамот показывает, что слово *товар*, употреблявшееся в них в значении, совпадающем со значением современного русского слова «товар», уже в XII веке было достаточно широко распространено даже в отдаленных от прямого тюркского влияния землях, таких, например, как Новгород, и прочно вошло в живую русскую нестилизованную речь. По данным двух первых названных выше грамот слово *товар* в указанном значении употреблялось в русском языке значительно раньше, чем это следует из «Словаря тюркизмов в русском языке»²⁵.

Цатрова 'сделанная из чатра'. Как отмечает А. В. Арциховский, в одном из русско-ливонских актов начала XIV века слово *чатор* засвидетельствовано как название ткани²⁶. Оно зафиксировано в грамоте № 262: «от Горислалица ... сорьщица цатрове»²⁷, то есть «от Гориславица ... рубашка из чатровой ткани».

Слово *чатор* имеет соответствия как в ряде современных, так и в древних тюркских языках в значениях: 1) палатка, шатер, полог; 2) женское белое покрывало²⁸, производное от него *чадыра* означает «миткаль»²⁹. В тюркские языки слово *çatır* попало, видимо, из персидского, в котором имеется существительное *çadır*, в ряду значений которого есть значение «чадра», «покрывало». По стратиграфическим показателям грамота № 262 относится ко второй половине XIV века. Это позволяет предположить, с учетом фактов упомянутых русско-ливонских актов³⁰, что слово *чатыр/чатор* появилось в русском языке в тот пери-

²¹ А. В. Арциховский и В. И. Борковский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1953—1954 гг.). М., 1958.

²² А. В. Арциховский и В. И. Борковский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1955 г.). М., 1958, стр. 51.

²³ А. В. Арциховский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1958—1961 гг.), стр. 40.

²⁴ Там же.

²⁵ Е. Н. Шипова. Словарь тюркизмов в русском языке. Алма-Ата, 1976, стр. 321.

²⁶ А. В. Арциховский и В. И. Борковский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1956—1957 гг.). М., 1963, стр. 89.

²⁷ Там же.

²⁸ Л. З. Будагов. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. Т. I. СПб., 1869, стр. 454.

²⁹ Там же.

³⁰ «Русско-ливонские акты, собранные К. Е. Нальефским». СПб., 1868, стр. 27.

од, когда уже сложились развитые торговые отношения между русскими княжествами и кыпчаками-половцами, а также велась торговля с Ближним Востоком через посредство кыпчаков.

Чалец 'конь чалой масти (серой с примесью другого цвета)'. Слова *чалец* в современном русском языке нет. Не зарегистрировано оно и в словаре В. Даля, хотя там приводятся такие существительные, как «ч^алка ж. р. и чалк^о м. р. — чалая лошадь»³¹. Это слово встречается в берестяной грамоте № 266, относимой согласно стратиграфическим данным к концу XIV или началу XV века: «... Вели Максимцю брати, да сыплъ съби в клить. А из кони поими моего цалца. Корми еждень овсъм»³².

В грамоте № 266 рассматриваемое слово дано в форме с начальным *ц* вместо *ч*, что характерно для новгородского говора и в настоящее время. Совершенно очевидно, что слово *чалец*, обозначающее коня серой масти с примесью другого цвета, является производным от прилагательного *чалъ* 'чалый' <др.-тюрк. *çal* 'серовато-белый'³³, заимствованного из кыпчакского (половецкого) языка³⁴.

До обнаружения данного слова в берестяной грамоте № 266 существовало мнение, что оно появилось в письменных документах лишь в конце XV — начале XVI века. Наличие же этого слова в грамоте второй половины XIV века, причем с производным аффиксом *-ец*, свидетельствует о том, что оно было ассимилировано русским языком задолго до составления данной грамоты, то есть в XII—XIII веках. Этот факт указывает на то, что именно кыпчакский язык, контактировавший с древнерусским языком киевского периода, и являлся тем языком-источником, из которого было заимствовано прилагательное «чалый».

³¹ В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. М., 1882, стр. 581.

³² А. В. Арциховский и В. И. Борковский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1956—1957 гг.).

³³ «Древнетюркский словарь». М.—Л., 1950, стр. 132.

³⁴ В. Д. Аракин. Тюркские лексические элементы в памятниках русского языка монгольского периода. — В сб.: «Тюркизмы в восточнославянских языках». М., 1974, стр. 143.

ОНОМАСТИКА

А. ГУСЕИНЗАДЕ

ОБ ОДНОМ ТОПОНИМЕ АПШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА («ДУВАННЫ»)

На современной карте Апшеронского полуострова под названием «Дуванны» известны два географических объекта: а) железнодорожная станция на линии Баку — Тбилиси, расположенная на расстоянии 69 км южнее Баку в Карадагском районе города, на побережье Каспия; б) небольшой вулканический остров на Каспии, к северу от мыса Сангачал, напротив поселка Кобыстан, с максимальной высотой 45 м и площадью 0,2 кв км (2,102; 19,89).

На месте нынешнего поселка Кобыстан некогда был населенный пункт *Дуванны*, который Указом Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР (от 5-го апреля 1951 года) был преобразован в поселок городского типа с тем же названием (3, 12), впоследствии переименованный (1972) в «Кобыстан».

Первые исследователи западного побережья Каспийского моря востоковед Б. Дорн и гидролог Н. Пушин, интересуясь этимологией этого топонима, пытались объяснить его на основе русского языка. По их мнению, остров был назван *Дуванным* якобы потому, что в прошлом русские казаки здесь «дуванили», то есть делили свою добычу (13, 83; 22, 115). О несоответствии этого толкования действительности свидетельствуют следующие факты: во-первых, остров свое название получил от одноименного населенного пункта, расположенного на побережье, во-вторых, рассматриваемый топоним не является единственным. Ареал его простирается далеко за пределы Азербайджанской ССР. *Диванлы* в Бардинском районе нашей республики (3, 160) и *Диванлыг* в шахрестане Мийане в Иранском Азербайджане (28, 233) являются вариантами этого географического названия. При первом даже беглом ознакомлении с топонимией республик Советского Союза обнаруживается, что рассматриваемый топоним достаточно распространен: *Еске-Дуван*, *Иана-Дуван* (23, 43), то есть «Старое Дуваново» (27, 311), «Новое Дуваново» (27, 296) и *Карадуван* (27, 275) на карте Татарской АССР; *Дуван*, *Дуван-Мечетлино*, *Дуванейка* (16, 232) на современной карте и *Дуванская волость* (18, 213) на исторической карте Башкирской АССР; *Туван* в составе ойконима *Малые Туваны* и оронима *Сартуван* (25, 40) в топонимии Чувашской АССР; и, наконец, *Дуван* в составе двойных топонимов *Ари-Дуван*, *Бузун-Дуван* на карте Узбекской ССР (26). Все эти названия восходят к ряду топонима *Дуванны* на Апшеронском полуострове.

По-видимому, до выяснения семантики этого названия необходимо изучить и определить выполняемые им информативные функции,

раскрыть историю его развития и происхождение. Для этого полезно привлечь исследования этнографов соседних тюркоязычных республик, способных пролить свет на поставленную проблему.

Из башкирских *шежере* (родословных) следует, что слово *дуван*, наряду с функцией ойконима, выполняет также и функцию антропонима. Согласно этим родословным, *Дуван* у северо-восточных башкир является именем восьмого сына Иштяка (8, 174). В *шежере* племени «табын» сохранился один из сложных вариантов этого антропонима — *Джан-Дуван* (8, 157), у киргизов — *Диван-Черик* (1, 50), свидетельствующие о популярности антропонима *Дуван* у этих народов. По данным тех же *шежере*, в составе двух башкирских племен «ай» (8, 197) и «табын» (8, 213) существовал род *дуван*. Дальнейшие исследования показали, что в XIII—XIV веках одним из крупных этнических объединений в Башкирии было племя *дуван* (18, 213).

Таким образом, слово *дуван* в прошлом выполняло несколько функций, выступая в качестве топонима, антропонима и этнонима и поэтому имело столь широкий ареал. Уместно здесь же привести существующие в ономастике тюркоязычных народов варианты рассматриваемого слова: *Даван* — одно из древних названий Ферганы (10), *Диван* — в составе азербайджанских ойконимов *Диванлы* (3) и *Диванлыг* (28), — узбекского топонима *Хауз-Диван* (26), — киргизского антропонима *Диван-Черик* (1); *Дуван* — азербайджанский топоним с суффиксом *-лы (-ны)*, татарский топоним (23), башкирский топоним и этноним (18); *Туван* — чувашский топоним и антропоним (25); *Дубан* — киргизский этноним (1).

Один из первых исследователей данного этнонима на башкирском материале Дж. Г. Киекбаев писал: «Слово *дуван (дуваней)* восходит к иранскому слову *диван*, которое означает „совет“, „соброр“, „собрание“...». Это слово, по его мнению, заимствовано тюркоязычными народами «у ираноязычных аланских племен, обитавших во II—IV веках н. э. на Южном Урале» (16, 233). Однако автор не дал лингво-фонетического анализа этого слова и не проследил этапы его фонетических изменений. С нашей точки зрения, это сделать необходимо.

Действительно, *divan* — тюркская форма иранского слова *divan*. Топоним *Дуванны* состоит из двух компонентов: первый из них *Дуван* является основой данного географического названия, а второй *-ны (-лы)* — тюркский словообразующий суффикс, где первая переднеязычная альвеолярная фонема аффикса *-л*, под воздействием предшествующего *-н* в конце основы, подверглась прогрессивной ассимиляции, и в результате аффикс *-лы* преобразовался в *-ны*. Такое фонетическое явление характерно для тюркских языков, в том числе и для азербайджанского (например: *соганны* < *соганлы*, *ганны* < *ганлы*, *виджданны* < *виджданлы* и т. д.). В составе изучаемого этнопонима аффикс *-лы (-ны)* выражает отношение родства (29, 61; 21, 78). Что касается основы топонима — *Дуван*, то она, как уже отмечалось, восходит к персидскому *divan*. Структурное различие между ними заключается в том, что негубной гласный переднего ряда, верхнего подъема первого слога персидского слова *-и* в тюркском варианте заменяется губным гласным заднего ряда, верхнего подъема *-у*. Наблюдаемое явление — чередование *и/у* в данном случае соответствует фонетическим нормам тюркских языков. По закону сингармонизма персидский *divan* в тюркском языке должен был произноситься *дыван*, *даван* или *дивен*. Однако последний слог данного слова не подвергся изменению, сохранив свою

первичную форму *-ван*. Поэтому *i* в первом слоге под влиянием последующей лабио-дентальной фонемы *v* в начале второго слога перешел не в ожидаемый *y*, а в губной гласный заднего ряда, верхнего подъема *-и*. Благодаря этому слово *divan*, изменив свой первоначальный облик, преобразовалось в *divan* подобно тому, как иранское слово *divar* 'стена' в диалектах азербайджанского языка, а также в турецком литературном языке произносится — *duvar*. В пользу такой версии происхождения тюркского *divan* из иранского *divan* свидетельствует наличие топонима *Диванлы* (3, 160) на современной карте; *Диван-Алиляр* (24) на исторической карте Азербайджанской ССР, *Диванлыг* (28) в шахрестане Мийане Иранского Азербайджана, *Хауз-Диван* (26) в Вабкентском районе Узбекской ССР.

Если участие племени *divan* в этногенезе азербайджанского народа подтверждают лишь вкрапленные в топонимию республики отдельные этнонимы (к сожалению, историческая этнография азербайджанского народа пока еще недостаточно изучена), то роль этого племени в образовании башкирского народа отражена помимо топонимии Башкирии и в ее исторической этнографии. Согласно сообщению Р. Г. Кузеева, племя *дуван*, «этнически восходящее к древней тюркомонгольской среде Алтая и Монголии, до миграции в Приуралье длительное время пребывало в Дешти-Кыпчаке. Смешиваясь с кыпчаками, предки дуванцев в начальный период истории Золотой Орды достигли в составе завоевательных походов Черного моря. Среди дуванцев, несмотря на то, что в долине Белой осталась ничтожная лишь часть их, до сих пор сохранились предания (в д. *Угузево* 'Огузово'; башк. *Угез* 'бык') о пребывании предков „на берегу моря” и их боевых подвигах» (18, 352—353).

Таким образом, благодаря башкирскому этнографическому материалу выясняется ряд фактов: во-первых, в XIII—XIV веках племя *divan* было одним из крупных этнических образований Башкирии (18, 213); во-вторых, представители этого племени до своего прихода в Приуралье длительное время проживали в Дешти-Кыпчаке и, смешавшись с кыпчаками, дошли до Черного моря (18, 352); в-третьих, в дуванских тамгах кыпчакские тамги количественно преобладают (18, 214); в-четвертых, основная тамга дуванцев и племени *kušči* (*košsy*) совпадают (18, 292) и, наконец, в-пятых, связь племени *divan* и *kušči* (*košsy*) имеет давнюю историю, она существовала «еще до расселения их в Башкирии» (18, 214), то есть до XIII—XIV веков. Все эти данные в определенной степени проясняют историческую ситуацию, способствовавшую появлению племени *divan* в Азербайджане и время его проникновения в Закавказье.

Первое появление объединений кыпчаков в этих краях, в состав которых входили дуванцы и тесно связанные с ними этнокультурными традициями *kušči*, зафиксировано в период правления грузинского царя Давида IV (1089—1125). С целью усиления военной мощи своего государства, боровшегося с сельджуками, и для укрепления личной гвардии, Давид IV, женатый на дочери кыпчакского хана, пригласил кыпчаков с Северного Кавказа и юга России в Грузию. По его велению в 1118 году 45 тысяч кыпчакских семей переселяются через Дарьяльский проход в Грузию и получают здесь земли для постоянного жительства. Таким образом, Давид IV создает кыпчакскую армию из 40 тысяч всадников (9,90). Следует полагать, Ибн ал-Асир, сообщая о союзе грузин с кыпчаками, направленном «против мусульман» в войне 1120 года

(14, 123), имеет в виду именно это переселение кыпчаков в Грузию Давидом Строителем для борьбы с сельджукскими захватчиками.

На продолжительность кыпчакской миграции в Грузию указывает термин «новые кыпчаки», упоминаемый в летописи времен царицы Тамар (1184—1213). Этот термин относился к «новым» переселенцам-кыпчакам, поселившимся в Грузии несколько позднее в отличие от «старых», большинство которых в это время уже именовалось «накипчакара», то есть «бывшие кыпчаки». Это указывает на то, что переселение кыпчаков в Грузию на протяжении длительного времени осуществлялось систематически и могло быть допустимым лишь при условии наличия значительного числа кыпчаков на Северном Кавказе» (5, 119) (разрядка наша. — А. Г.). Термин «накипчакара» свидетельствует о том, что будучи кыпчаками по происхождению эти переселенцы уже ассимилировались и значительно отличались от «новых кыпчаков».

Впервые кыпчаки упоминаются в «Повести временных лет» в 1054 г. (20, 309). Позднее в различных исторических источниках отмечаются их набеги на отдельные русские княжества: в одних случаях они выступают союзниками некоторых русских князей, враждующих с другими русскими князьями (20, 333), а в других — воюют против всей Руси (20, 342). По данным грузинских летописей, кыпчаки «во второй половине XI века, во всяком случае не позднее конца этого столетия» уже обитали на Северном Кавказе на территории будущей Кабарды (5, 117).

Следующее вторжение кыпчаков в эти края произошло в 1222 году (7, 93) при грузинском царе Лаша, сыне Тамар, правившем после матери под именем Георгия IV (1213—1223). Кыпчаки, преследуемые монголами, вторглись через Дербентские ворота в Ширван и Аран и обратились к царю Грузии с просьбой выделить им место для постоянного жительства, обещая ему свою службу. Получив отказ, они обратились с аналогичным ходатайством к правителю Гянджи. Рассчитывая на их помощь в борьбе со своими врагами, правитель Гянджи выделил им место для постоянного поселения в окрестностях города (15, 23; 17, 139). Однако кыпчаки своим поведением вызывают возмущение местных жителей. Тогда народы Дагестана, Ширвана, Арана и Грузии, объединившись, выступают против них. Кыпчаки терпят поражение (4, 102). Как отмечает Ибн ал-Асир: «кыпчакский раб (мамлюк) продавался в Дербент-Ширване по (самой) низкой цене» (14, 148).

Таким образом, исторические факты свидетельствуют о том, что начало кыпчакской миграции в Закавказье относится к XII веку, а массовое проникновение их туда связано с нашествием монголов, то есть происходит в XIII—XIV веках. В топонимии Закавказья отражены не только названия отдельных племен или родов кыпчакского объединения, такие, как *Дуванны*, *Куба* (11, 119), *Кушчи* (12, 89), *Оран* (<Уран), но также и самого объединения — *куман* (> *коман*) и *кыпчак*. Об этом свидетельствуют ойконимы *Команлы* (3, 174), *Кыпчак* (3, 156) на современной карте Азербайджанской ССР и *Кыпчак* в исторической топонимии Армянской ССР, переименованный в 1946 году в Арчил (6, 211). О длительности пребывания кыпчаков в этих краях, об их роли в культурной жизни и участии в формировании азербайджанского народа свидетельствует также наличие значительного количества кыпчакских элементов в диалектах и говорах современного азербайджан-

ского языка: Кубинского и Нухинского диалектов, Закаталы-Кяхского, Бакинского, Шемахинского и Джебраильского говоров (30, 5).

ЛИТЕРАТУРА

1. С. М. *Абрамзон*. Киргизы и их этногенетические и культурные связи. Л., 1971.
2. «Азербайджан ССР-ин изаһлы чографи адлар дугети». Баку, 1960.
3. «Азербайджан ССР. Инзибати-эрази бөлкүсү». Баку, 1968.
4. А. А. *Али-заде*. Социально-экономическая и политическая история Азербайджана XIII—XIV вв. Баку, 1956.
5. З. В. *Анчабадзе*. Кыпчаки Северного Кавказа по данным грузинских летописей XI—XIV вв. — В сб.: «Материалы научной сессии по проблеме происхождения балкарского и карачаевского народов» (22—26 июня 1959 г.). Нальчик, 1960.
6. «Армянская ССР. Административно-территориальное деление». Ереван, 1964.
7. Л. С. *Бабаян*. Социально-экономическая и политическая история Армении XIII—XIV вв. М., 1969.
8. «Башкирские шежере». Составление, перевод, введение и комментарии Р. Г. Кузеева. Уфа, 1960.
9. Н. А. *Бердзешвили и др.* История Грузии. Тбилиси, 1960.
10. Н. Я. *Бичурин (Иакинф)*. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. 3. М., 1953.
11. А. *Гусейнзаде*. К этимологии топонима *Куба* — «Советская тюркология», 1971, № 2.
12. А. *Гусейнзаде*. К этимологии топонима *Кушчи*. — «Советская тюркология», 1971, № 6.
13. Б. *Дорн*. Каспий. СПб., 1875.
14. *Ибн ал-Асир*. Тарих ал-Камил. Баку, 1940.
15. Из «Летописи Себастици. — «Армянские источники о монголах». Перевод с древнеармянского, предисловие и примечания А. Г. Галстяна. М., 1962.
16. Дж. Г. *Киекбаев*. Вопросы Башкирской топонимики. — «Ученые записки Башкирского государственного педагогического института им. К. А. Тимирязева», вып. 8. Серия филологическая. Уфа, 1956.
17. *Киракос Гандзакеци*. История Армении. Перевод с древнеармянского, предисловие и комментарий Л. А. Ханларяна. М., 1976.
18. Р. Г. *Кузеев*. Происхождение Башкирского народа. Этнический состав, история расселения. М., 1974.
19. Д. Д. *Пазирев*. Алфавитный указатель к пятиверстной карте Закавказского края. Тифлис, 1913.
20. «Повесть временных лет». Часть первая. Подготовка текста Д. С. Лихачева, перевод Д. С. Лихачева и Б. А. Романова. Под ред. В. П. Андриановой-Перец. М.—Л., 1950.
21. O. *Pritsak*. Stammensnamen und Titulaturen des Altaischen Völker. — «Ural-Altische Jahrbücher». Bd. XXIV, Heft 1—2, Wiesbaden, 1952.
22. Н. *Пуцин*. Каспийское море. СПб., 1877.
23. Г. Ф. *Саттаров*. Этапы развития и очередные задачи татарской ономастики, Казань. 1970.
24. «Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 г.». Тифлис, 1893.
25. М. И. *Скворцов*. Таван из перс. *диван*. — «Диалекты и топонимия Поволжья» (Материалы и сообщения). Вып. I. Чебоксары, 1972.
26. «Список населенных пунктов Узбекской ССР». Ташкент, 1935.
27. «Татарская АССР. Административно-территориальное деление». Казань, 1966.
28. فرهنگ جغرافیایی ایران (آبادیها) و جلد چهارم، تهران ۱۳۲۲
29. М. *Гусейнзаде*. Мүасир Азербайжан дили (Фонетика, морфолокија). Баку, 1963.
30. М. *Ширалиев*. Кыпчакские элементы в азербайджанском языке (На материале диалектов и говоров). — «Исследования по грамматике и лексике тюркских языков». Ташкент, 1965.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

С. С. КИМ

К ПРОБЛЕМЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РУССКО-НАЦИОНАЛЬНЫХ СЛОВАРЕЙ

В «Литературной газете» от 12 декабря 1979 года была опубликована заметка Г. Бельгера «Назвался грибом — не бойся, лезь» о первом томе академического «Русско-казахского словаря», изданного в 1978 году Главной редакцией Казахской Советской Энциклопедии. Затронутые в заметке вопросы выходят за рамки критической оценки только данного словаря. Они касаются составления всех русско-национальных словарей в советских республиках. Поэтому нам представляется полезным остановиться на этой проблеме подробнее, высказав ряд соображений по дальнейшему совершенствованию русско-национальных словарей. Замечания и пожелания наши будут касаться главным образом русской части «Русско-казахского словаря», а именно: основы словаря; отбора словарных единиц; семантизации; примеров, иллюстрирующих значения слов; фразеологии; грамматической характеристики слов; функционально-стилистических помет; унификации и соблюдения единого орфографического режима.

Основа словаря. В основу рассматриваемого словаря лег «Русско-казахский словарь», изданный в 1954 году, словник которого был составлен в соответствии с рекомендациями, разработанными для русско-национальных словарей, созданных в союзных республиках в 50-е годы. Словарь 1978 года был дополнен по большому семнадцатитомному академическому словарю русского языка. Кроме того, в него были включены новые слова, отражающие реалии 60—70-х годов и вошедшие в речевой обиход народов нашей страны, а также лексические единицы, характерные для русской речи на территории Казахстана. Однако, несмотря на существенные дополнения, словарь все же не может считаться оригинальным, ибо он был создан, как мы отметили, по типовой лексикографической разработке 50-х годов. Это по существу переиздание предшествующего словаря.

Отбор словарных единиц. Первые же страницы словаря противостоят традиционному представлению о слове. Наряду с простыми лексическими единицами отдельными статьями даны и составные, раздельно-оформленные единицы, фразеологизмы, например: *абаев стих, авгиевы конюшни, антоновские яблоки, аютины глазки, ахилесова пята* (так в словаре — с одним л). И далее: *базедова болезнь, без устали, бертолетова соль, бристольский картон, вальпургиева ночь, варфоломеевская ночь, виттова пляска, в наклон, вольтова дуга, в пику, вряд ли, в силу, в тупик* и т. д.

Как видим, здесь смешаны два типа словарей — лексический и фразеологический. Таким образом, его словник оказался составленным, помимо русских слов, также из фразеологических единиц и терминов-словосочетаний.

В словарь включены отдельно оформленные наречия и сложные (составные) предлоги. Поэтому, чтобы быть последовательным, в него должны были быть включены все наречия, которые по действующей ныне русской орфографии принято писать отдельно, а также предлоги *в течение, в связи, в продолжение* и другие, союзы *потому что, несмотря на то что* и т. д.

В словаре встречаются такие слова, как *абаеведение, ауэзоведение* и др. Стремление составителей обогатить словарь за счет таких слов можно было бы только приветствовать. Однако едва ли правомерно включение в словарь такого, например, слова, как *абаевострофа*, которое, хотя и образовано по правилам русского словосложения, невозможно признать удачным. В качестве литературоведческого термина, вероятно, лучше было бы принять сочетание *абаева строфа*.

Толковые академические словари русского языка, такие, как большой семнадцатитомный (БАС) и малый четырехтомный (МАС), являются словарями-справочниками, тогда как создаваемые ныне русско-национальные словари — издания нормативные. Поэтому при отборе слов следует ориентироваться на нормативный толковый словарь русского языка (например, словарь С. И. Ожегова).

Семантизация. Если при отборе слов для русско-национальных словарей образцом может служить словарь С. И. Ожегова, то для семантизации, разграничения значений слов более приемлем МАС.

Словарь С. И. Ожегова в последнем случае не может служить основой в связи с тем, что для него характерно объединение под одним значением нескольких значений, часто не мотивированное с точки зрения носителя языка перевода. Так, первое значение слова *закатить* 'каты, направить, поместить, деть куда-н.' в словаре С. И. Ожегова иллюстрируется примерами *закатить коляску в сарай, закатить мяч под диван* и фразеологически связанным сочетанием *закатить глаза*.

В «Русско-казахском словаре», как и в МАС, в слове *закатить* правильно выделены три значения, а словосочетание *закатить глаза* помещено за ромбом.

Однако основываться на МАС — это еще не значит отказаться от привлечения других словарей. При работе над русско-национальными словарями следует пользоваться всеми современными толковыми словарями русского языка, ибо только путем сравнения можно выявить оптимальный вариант семантической разработки. Например, в слове *лупить* МАС выделяет четыре значения, в том числе ← третье — «сильно бить, колотить, сечь кого-л.». В словаре же С. И. Ожегова это значение легло в основу выделения слова-омонима. В русско-национальных словарях 50-х годов, а также в современных, включая «Русско-казахский словарь», отдано предпочтение разработке С. И. Ожегова.

Эти и другие положительные факты свидетельствуют о том, что авторы типовой разработки словарей 50-х годов провели значительную работу по уточнению семантики слов на базе сопоставительного анализа материала толковых словарей русского языка.

Вместе с тем лексикограф всегда должен учитывать семантические процессы, происходящие в слове, возникновение новых значений, часто закрепляемых в качестве основного значения данного слова. Так, например, произошло со словом — *вбросить—вбрасывать*. Сейчас основное значение этого слова ассоциируется с действием «произвести вбрасыва-

ние» (в спорте: ввести шайбу, мяч снова в игру). Однако это обновленные семантики слова *вбросить* не учтено в «Русско-казахском словаре». И таких фактов можно привести множество.

Примеры. К числу наиболее трудных и сложных вопросов в работе над русской частью русско-национальных словарей относится составление примеров, иллюстрирующих значения слов. В отличие от толковых словарей, в двуязычных возможности использования цитат ограничены. Как правило, составители русской части сами являются авторами примеров.

К сожалению, составители «Русско-казахского словаря» не справились с подбором примеров, отвечающих высоким методологическим и лексикографическим требованиям.

Примеры: «Придешь с работы, да и надрыгаешься», «После стакана водки он сильно окосел», «Он окрестил приятеля свиньей» и т. п., приведенные в упомянутой заметке Г. Бельгера, — это лишь малая часть курьезов, встречающихся на страницах «Русско-казахского словаря».

Чтобы оценить с позиции практической лексикографии иллюстративный материал «Русско-казахского словаря», мы сделали попытку каким-то образом сгруппировать примеры, но наши усилия оказались тщетными. Однако приведем несколько примеров: *безмужняя(!) вдова; вертлявая женщина; он молчал, но внутренне любил ее; выпороть мальчика за шалости; вербовать подростков в ремесленные училища; вязать кирпичи цементом; вывить веревку; выклеивать марку из альбома; вытанцевать замысловатые па; вышвырнуть вещи из вагона; выцарапать кому-либо глаза; Волга — одна из главных артерий страны; Я написал доклад или вернее, тезисы к докладу (пунктуация словаря сохранена); «Борис Годунов» — сильная вещь; Прекрасная вещь — молодость; Взаимопроникновение одного вещества в другое; всечеловеческая правда; плуг — видоизменение сохи; мысль, выраженная словами; кислота выедает дыры в тканях и дереве; вырешить вопрос; мы плотиной взнуздали эту бурную реку; он мыслями унесся в заоблачную высь; вьюгами глубоко землянку занесло.*

Еще примеры: *базарный скот, бородавчатый нос, бумага в линейку, бумага в клетку, валунная глина, порох взорвался, обозчики (?) остановились на водопой, отсутствие писем меня волнует, выделанный смех, вяло тякали где-то собаки* (стр. 11—146).

Фразеология. В «Русско-казахском словаре» за знаком ромба (этим знаком принято выделять фразеологию) вместе с фразеологическими единицами помещены также свободные словосочетания и целые предложения. Например, в словарной статье *беситься* за ромбом помещены: 1) *беситься с жиру* и 2) *взрослые ушли, дети бесятся*. В статье *бить ромбом* отмечены как фразеологизм *бить ключом*, так и предложения *кровь бьет из раны* и *меня бьет лихорадка*, в статье *бросить* даны *бросить взгляд* и *его бросило в пот (!)*. Нередко за ромбом даются примеры, которые никак нельзя классифицировать как фразеологизмы. Например: *Я был в пальто* (к статье *быть*), *визит врача с пометой уст. (!)*, *вмять (?!) неприятеля* (в реку), в статье *волосянка* — *игра в которой проигравших дерут за волосы* (так без запятой и с ударением на предложении *за*), *размытая, снесенная водой часть дамбы* (к статье *вымоина*). В то же время не помечена ромбом масса хрестоматийных фразеологических единиц, например: *играть в бирюльки, вешать нос, беглые гласные, беглый огонь, безусловный рефлекс, вешать голову* и т. д.

Из этих и большого количества других примеров можно заключить, что при отборе фразеологических единиц составители не учли главные фразеологические признаки, в том числе и компонентный состав экс-

прессивно-выразительных средств, являющихся основой фразеологии любого языка.

Грамматическая характеристика слов. В практике грамматической характеристики слов в настоящее время наметились два направления, которые условно можно назвать языковым и речевым. Под языковым направлением мы подразумеваем четкое обозначение в словарях грамматических категорий (например: **вымучить** сов. перех.; **выращивание** ср. только ед.; **выхолонный** прич. и прил.), под речевым — демонстрацию самих грамматических форм, причем специфичных явлений словоизменения (например: **беречь**, -егу, -ежешь *кого-что*; **танец м. р.** -нца; **великолéпный**, -ая, -ое; -пен, -пна, -пно; **красный**, -ая, -ое; -сен, -сна́, -сно). Второе направление, на наш взгляд, предпочтительнее для русско-национальных словарей, так как больше соответствует цели изучения русского языка в национальных республиках.

Указанные принципы грамматической характеристики слов реализованы в современных толковых словарях русского языка, и составителям русско-национальных словарей остается сделать выбор, творчески использовать готовые образцы.

По грамматической подаче частей речи «Русско-казахский словарь» в целом относится к языковому направлению. Глаголы то даются с пометами перех. и неперех., то снабжаются падежными вопросами, указывающими на управление. Например: **выдраивать** сов. (?) перех. и здесь же — **выдраить II** сов. кого. Однако в словаре преобладают непосредственные указания на управление, что свидетельствует о наметившейся в лексикографии тенденции к предпочтению речевого принципа грамматической характеристики глаголов.

Выше мы выделили глагол **выдраивать** с неверной пометой сов. Можно привести и другие досадные оплошности такого рода, например: **белила ж (?)** только мн. В словаре наблюдается и разноречие при выборе исходной словарной формы. Так, слова **валенки** и **варежки**, обозначающие парные предметы, даны в словаре: **ва́ленки мн.**, ед. **валенок** и **ва́режка ж.**, тогда как и второе слово следовало дать в форме множественного числа. В статье **вся** сделана отсылка на статью **весь** (с м. **весь**), но казахский читатель не найдет там разработки этого местоимения в форме женского рода; в статье **весноватый** дается пояснение «то же, что **веснушчатый**», но рядом это слово приводится в искаженной форме — **весну́щатый**.

Функционально-стилистические пометы. Из помет, проставляемых в словах в процессе работы над словарными статьями, наиболее сложными являются функционально-стилистические. При соотнесении слов с пометами в толковых словарях русского языка с их современным звучанием необходимо вносить существенные коррективы в функционально-стилистическую характеристику значительного количества слов современного русского языка.

В «Русско-казахском словаре» не проведена соответствующая функционально-стилистическая коррекция. Более того, составители сопровождают пометами массу слов, не требующих какой-либо стилистической или функциональной характеристики. Например, слова **бетон**, **бетонирование**, **бетонировать**, **бетонный**, **бетономешалка** даны с пометой **т е х.** Из слов с корнем **бетон** без пометы даны **бетонироваться** и **бетонщик**. В этом отношении больше повезло словам с корнем **баскетбол**, которые все без исключения снабжены функциональной пометой **с п о р т.**

Трудно понять, какими критериями руководствовались составители словаря, когда, например, слова **абордаж** и **виола** снабжали пометой

устар., слово *быстроходный* — пометой мор., а словосочетание *вздутие живота* — пометой мед.

Известная непоследовательность наблюдается в стилистической характеристике слов, отмеченных в толковых словарях русского языка как устаревшие. В «Русско-казахском словаре» со слов *благодарение, благоденствие, благолепный, благоусмотрение, благочиние* и других снята помета устар., тогда как в словах такой же стилистической окраски (*благодаяние, благолепие, благодравие* и т. д.) она сохранена.

В словаре все названия диких животных сопровождаются пометой зоол., а названия дикорастущих растений — пометой бот. Вряд ли нужна такая очевидная классификация, когда информация заключена в самом переводе.

Унификация и соблюдение единого орфографического режима. Культура любого издания, особенно такого фундаментального, как толковый двуязычный словарь, во многом зависит от соблюдения унификации и единого орфографического режима, определенных инструктивных указаний к данному словарю.

В «Русско-казахском словаре» немало отступлений от этих требований. Так, приняты сокращения уст. — устный, устар. — устаревшее слово или выражение, однако обе пометы используются для обозначения устаревших слов (*адамánt уст., айсбр устар., богоугóдный уст., благонамеренный уст., вдругорядь (!) устар.* и т. д.). Кроме того, употребляются пометы стар. (*багряница*), дорев. и доревол. (*варна́к, вернопóдданныческий*), которые не значатся в списке условных сокращений.

Следует подчеркнуть, что разноречивой в оформлении словарных статей свидетельствует о недостаточной продуманности системы подачи частей речи в частности и лексикографической разработки словаря в целом.

В заключение считаем необходимым кратко изложить вытекающие из анализа «Русско-казахского словаря» некоторые соображения о дальнейшем совершенствовании составления русско-национальных словарей.

Главный просчет составителей словаря, на наш взгляд, заключается в том, что «осовременение» старого словаря они пытались осуществить не за счет всестороннего качественного его обновления в соответствии с требованиями современной лексикологии и лексикографии, а путем механического включения в него новых слов и значений, неоправданного с позиций нормативного словаря, пополнения его словами просторечной окраски и других функционально-стилистических характеристик.

Русско-национальные словари 50-х годов, в том числе и «Русско-казахский словарь» тех лет, — это пройденный этап советской лексикографии. Поэтому по прошествии более двух десятилетий основой словаря должна стать новая типовая лексикографическая разработка русско-национального словаря.

Необходимо творчески использовать заложенные в толковых словарях русского языка принципы отбора слов, подачи частей речи, разграничения значений слов, отбора и составления иллюстративного материала, размещения в словарных статьях фразеологических единиц, грамматической характеристики слов и др.

Следует учитывать, что одинаково трудными для усвоения носителями как родственных с русским, так и иносистемных языков являются, например, характер русского словоизменения и чередование звуков. Поэтому эти общие для всех них проблемы и должны стать главенствующими в новой типовой разработке. На наш взгляд, важно реализо-

вать в двуязычном словаре не языковое, а речевое направление грамматической характеристики. Для нерусских читателей важнее не то, в частности, является ли данный глагол переходным или непереходным, а разъяснение его управления с помощью местоименных слов.

Все это достаточно полно отражено в современных толковых словарях русского языка.

Новая типовая разработка избавит словари от разнобоя в подборе и составлении иллюстративного материала.

Типовая разработка позволит внести также четкость в распределение фразеологии и прежде всего представить в необходимом объеме ее основной фонд — экспрессивно-выразительные единицы русского языка.

С новой лексикографической разработкой связано решение задач дальнейшего совершенствования рассмотренных выше и других важных аспектов составления русско-национальных словарей.

Таким образом, проблема создания русско-национальных словарей связана с осуществлением для них единой типовой лексикографической разработки.

СООБЩЕНИЯ, ОБЗОРЫ

В. Г. КОНДРАТЬЕВ

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В МОРФОЛОГИЧЕСКОМ СТРОЕ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

Сопоставление языка древнетюркских памятников (рунической, уйгурской и манихейской письменности VIII—XI веков) с современными тюркскими языками позволяет сделать некоторые выводы об основных тенденциях развития морфологического строя тюркских языков. Наибольший интерес представляет сопоставление древнетюркского языка с огузскими языками, генетически с ним связанными.

Проблема основных тенденций развития морфологического строя тюркских языков до последнего времени специально не исследовалась. В статье Н. З. Гаджиевой, посвященной данной проблеме¹, главные, определяющие тенденции этого развития не выделяются. Вместе с тем автором отмечаются некоторые из этих тенденций: соединение двух однозначных аффиксов в единый сложный аффикс, повторяющий значения и функции составляющих его морфем; ослабление согласования в числе; развитие значения множественности на базе значения собирательности; сокращение числа падежей с пространственным значением; угасание инструментального падежа; различение падежей субъекта и прямого объекта; создание более четких падежных показателей (показатели *-ну*, *-пу*, *-га* по своей языковой выразительности имеют явные преимущества перед показателями *-у*, *-у*, *-а*); известное разрушение аффиксов принадлежности и замена их формой родительного падежа личных местоимений; адъективация первого члена изафетного словосочетания и ослабление смыслового разграничения 1-го и 2-го типов изафета; угасание связки настоящего времени; исчезновение личных показателей предикативности 3-го лица; выделение особой формы настоящего времени данного момента; выделение самостоятельных форм перфекта; развитие будущего времени на базе модальности (формы *-гу*, *-гај*).

Некоторые из указанных тенденций действительно существуют в тюркских языках. Так, наблюдается фузия аффиксов с близким значением, вероятно, и значение множественности развилось на основе значения собирательности.

В то же время отмеченные Н. З. Гаджиевой наблюдения нуждаются в уточнениях. Так, например, ослабление согласования в числе происходит не во всех тюркских языках. В древнейших рунических памят-

¹ Н. З. Гаджиева. О тенденциях в развитии морфологического строя тюркских языков. — «Советская тюркология», 1976, № 5, стр. 3—15.

никах согласование сказуемого с подлежащим в числе в 3-м лице отсутствует, между тем в современных тюркских языках сказуемое в 3-м лице часто согласуется с подлежащим в числе.

В качестве примеров, подтверждающих тенденцию к сокращению числа пространственных падежей, Н. З. Гаджиева приводит утрату продуктивности аффиксами направительного падежа *-ĉa*, дательно-направительного падежа *-garu* и латива *-n* в составе аффикса исходного падежа. Отметим, однако, что форма на *-ĉa* в древнетюркском языке имела преимущественно сравнительное значение, а формы исходного падежа *-dan* и местного падежа *-da* не связаны генетически. Употребление формы *-da* в аблативном значении отражает древнее диалектное совпадение форм местного и исходного падежей, произошедшее вследствие утраты конечного *-n*². Хотя дательно-направительный падеж с аффиксом *-garu* и утратил продуктивность, однако в тувинском, хакасском и чувашском языках существуют формы дательно-направительного падежа, употребляемые параллельно с формами дательного падежа. Все эти формы имеют вторичный характер³. Следует в данном случае говорить не столько о тенденции к различению падежа субъекта и падежа прямого объекта, сколько о тенденции к выражению конкретно-предметных значений прямого дополнения формальными средствами.

С нашей точки зрения, нельзя считать, что аффиксы *-nuŋ*, *-nu*, *-ga* имеют какие-то преимущества перед аффиксами *-uŋ*, *-u*, *-a*. Последние широко используются в современных огузских языках. Аффикс дательного падежа *-a* в современных огузских языках является результатом фонетических изменений начальной формы аффикса с согласным *g* в аялауте⁴. Если бы аффикс с начальным согласным имел какие-то преимущества перед аффиксом без начального согласного, то вряд ли произошел бы переход *-ka/-ga > -a*.

Что же касается разрушения аффиксов принадлежности, то этому противостоят данные древнетюркских памятников: в рунических надписях встречаются сочетания типа *бизиң сій* 'наше войско', в которых принадлежность выражается только формой родительного падежа личного местоимения, то есть еще в древнейшие времена категория принадлежности могла передаваться не аффиксами принадлежности, а формой родительного падежа определения.

В древнетюркском языке степень адъективации первого члена изафетного словосочетания была ничуть не меньшей, чем в современных тюркских языках. Смысловое же разграничение 1-го и 2-го типов изафета в современных тюркских языках в большинстве случаев четче, нежели в древнетюркском. Поэтому следует говорить не об ослаблении смыслового разграничения 1-го и 2-го типов изафета, а о явной тенденции к более четкому смысловому разграничению этих форм.

Личные показатели 3-го лица при глагольных формах в позиции сказуемого в рунических надписях отсутствуют, в уйгурских текстах в качестве личного показателя иногда выступает личное местоимение *ol* 'он', однако это носит факультативный характер. Следовательно, четкой тенденции к исчезновению предикативных показателей 3-го лица нет. Первоначально предикативность выражалась только позиционно. Впоследствии использование предикативных показателей в 1-м и во 2-м ли-

² А. М. Щербак. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков. Л., 1977, стр. 46—47.

³ Там же, стр. 49—50.

⁴ Там же, стр. 37.

цах стало обязательным, а в 3-м лице осталось факультативным. В тувинском языке в качестве предикативного показателя 3-го лица иногда употребляется личное местоимение *ol* 'он'.

Правильнее поэтому говорить не об «угасании связки настоящего времени», а о том, что один из глаголов-связок — глагол *er-* 'быть' утратил самостоятельное лексическое значение и перестал функционировать в качестве связки настоящего времени. Следует отметить, что в древнетюркском языке глагол *er-* был полнозначным и мог использоваться в форме настоящего-будущего времени. *erür* как связка настоящего времени. Несмотря на это, очень часто формы именного сказуемого не имели в своем составе глагола *er-*. При этом в наиболее древних тюркских рунических памятниках глагол *er-* в функции связки настоящего времени не употреблялся.

Возможно, что в тюркских языках и действовала тенденция к выделению самостоятельных форм перфекта. Но даже если такая тенденция и существовала, то, очевидно, задолго до создания древнейших тюркских памятников, ибо уже в рунических памятниках форма перфекта *-tuş* используется очень широко. Первоначальным значением прошедшего категорического времени на *-dy* могло быть значение перфекта. Переход форм со значением перфекта в формы со значением простого прошедшего времени — весьма распространенное явление во многих языках. Так, в современном французском языке форма перфекта (*passé composé*) употребляется и в значении простого прошедшего времени (вместо *passé simple*). Следовательно, можно предположить, что первичными были именно перфектные значения.

Уже в древнетюркском языке форма на *-gaj* имела также значение будущего времени. Поэтому следует говорить не о тенденции к переходу форм со значением модальности в формы со значением будущего времени, а о том, что в формах, передающих действие не в прошедшем времени, модальные и временные значения тесно связаны. Например, в современном турецком языке форма настоящего-будущего времени может выражать потенциальную возможность совершения действия.

При исследовании проблемы развития грамматического строя тюркских языков необходимо учитывать, что в основе развития языка лежат внутренние противоречия и противоположные тенденции. Б. А. Серебрянников пишет: «Но самое парадоксальное состоит в том, что осуществление одной тенденции может помешать осуществлению другой тенденции или свести на нет ее позитивные результаты. Существует антагонизм тенденций в самом прямом значении этого слова»⁵. С нашей точки зрения, существование антагонизма тенденций вполне естественно, ибо основой развития языка, как и любой другой системы, являются именно внутренние противоречия. В языке действуют две противоположные тенденции — тенденция выражения различных значений и функций разными формами и тенденция выражения одних и тех же или близких значений и функций одинаковыми средствами. Эти универсальные тенденции в тюркских языках проявляются в ряде частных закономерностей.

Универсальная тенденция выражения различных значений и функций разными формами обнаруживается прежде всего в стремлении к формальной дифференциации субстантивных и адъективных значений.

⁵ Б. А. Серебрянников. Об относительной самостоятельности развития системы языка. М., 1968, стр. 105.

В сфере неглагольных имен эта тенденция ведет к формальной дифференциации имен прилагательных и имен существительных. В древнетюркском языке имя весьма часто могло обозначать качество предмета как признак (адъективное значение) и качество предмета как абстрактное понятие с субстантивным значением: *alp* 'отважный', 'храбрость'; *inç* 'спокойный', 'спокойствие'; *kağa* 'черный', 'мрак'; *aç* 'голодный', 'голод'. В современных тюркских языках субстантивные и адъективные значения обычно различаются формально: тур. *aç* 'голодный' — *açlık* 'голод'. В сфере имен действия тенденция к формальной дифференциации субстантивных и адъективных значений ведет к тому, что значение процесса и значение признака действия в современных тюркских языках чаще всего передаются различными формами. В древнетюркском языке форма *-myš* и форма *-r* могли передавать и значение процесса и значение признака действия: *Bu burhan etüzin boš qılmışın saqınmış kergäk* 'Нужно представить, что он освободил это тело будды' (ДТС, стр. 113); *Jol janılmıš kiši* 'Человек, сбившийся с дороги' (ДТС, стр. 271); *Iniläri mayastvi teginniñ tonı qamış butıqı üzä asqın turup tururın ... körtilär* 'Они увидели, что одежда их младшего брата принца Магастви висит на камыше (букв. на камышовой ветке)' (ДТС, стр. 61); *Uzun jašajur tñnlıylag az* 'Живых существ, которые живут долго, мало' (ДТС, стр. 383). В современном турецком языке формы на *-r* и *-myš* имеют только значение признака действия.

Помимо тенденции к формальной дифференциации субстантивных и адъективных значений, универсальная тенденция выражения разных значений различными формами проявляется в тюркских языках и в ряде других закономерностей.

В древнетюркском языке приименное неглагольное определение с конкретно-предметным значением и приименное неглагольное определение с отвлеченно-предметным значением могли передаваться одной формой — основным падежом: *Bu ĩrğ bašynta az emgäki bar* 'В начале этого гадания есть немного трудностей' (ДТС, стр. 220); *Braman oyušınta ersär* 'Если он будет из касты брахманов' (ДТС, стр. 119). В современных тюркских языках, как правило, определение с конкретно-предметным значением передается формой родительного падежа, а определение с отвлеченно-предметным значением — формой основного падежа.

В древнетюркском языке дательный падеж мог передавать значения места, где совершается действие, времени, когда оно совершается, и срока, в течение которого оно совершается: *Künäškä olurur ol* 'Оно находится на солнце' (ДТС, стр. 327); *Üç jegirmikä inirtä közünür* 'Покажется в тринадцатый день на рассвете' (ДТС, стр. 211); *Bir jılqa elig күn arıy dıntarça vusanti olursuq törü bar erti* 'Был закон [совершать], подобно чистым священнослужителям, в год пятьдесят дней пост' (ДТС, стр. 635). В современных тюркских языках чаще всего эти значения выражаются местным падежом; дательный падеж передает только адресатные значения, а также объект, вызывающий эмоциональную реакцию, возместительное действие, замену, предметное возмещение⁶. Падеж с аффиксом *-da* в древнетюркском языке мог иметь не только локативные, но и директивные и аблативные значения: *Tayta uz joq* 'В горах нет прохода' (ДТС, стр. 620); *Ol evtä jašin tüsmöz* 'В тот дом не упадет молния' (ДТС, стр. 227); *Tört uluy emgäktä gurtulalım* 'Освободимся от четырех великих страданий' (ДТС, стр. 469).

⁶ С. Н. Иванов. Курс турецкой грамматики. Ч. 1. Л., 1975, стр. 80—81.

В современных тюркских языках значения падежей дифференцированы более четко: обычно директивные значения выражаются дательным падежом, локативные — местным, аблативные — исходным.

Тенденция выражения одинаковых или близких значений и функций одинаковыми формальными средствами проявляется в утрате продуктивности рядом форм.

В древнетюркском языке использовалась продуктивная форма дательно-направительного падежа с аффиксом *-yaru*. Близкие значения имел и дательный падеж, о чем свидетельствует параллельное употребление этих падежей с одними и теми же глаголами в одинаковом значении: *Iraq balıqqa barıg* 'Пойдет в далекий город' (ДТС, стр. 219); *Beg er jurtınaru barmış* 'Князь пошел к своему табуна коней' (ДТС, стр. 91). Инструментальное значение в древнетюркском языке выражалось формой инструментального падежа с аффиксом *-n* и сочетанием имени с послелогом *birilä*: *Jaruqın jaltrıqın jarutur siz* 'Ты озаряешь сиянием и блеском' (ДТС, стр. 244); *Ot birilä qajınturmış isig suvcu* 'Горячую воду, прокипяченную на огне' (ДТС, стр. 407). В современных тюркских языках формы дательно-направительного и инструментального падежей утратили свою продуктивность.

Деепричастия на *-rap* и *-p* в древнетюркском языке передавали одинаковое значение — действие, предшествующее другому действию: *Jajlay taγıta ayırap jajlayur turur men* 'Я провожу лето, поднимаясь на свое лето в горы' (ДТС, стр. 16); *Jaqın kelip ötläjü erigläjü inča ter tedi* 'Он подошел и, советуя, так сказал' (ДТС, стр. 392). Деепричастие на *-rap* вышло из употребления.

В древнетюркском языке приименное неглагольное определение с отвлеченно-предметным значением могло передаваться формой основного падежа и сочетанием имени существительного с аффиксом *-lyu*: *Ölüm qarşısi* 'Опасность смерти' (ДТС, стр. 384); *Ölümlüg sakıñč* 'Мысль о смерти' (ДТС, стр. 384). В современных тюркских языках определение с отвлеченно-предметным значением выражается обычно формой основного падежа, значение аффикса *-lyu* сузилось, он обозначает только обладание тем, что выражено исходной основой.

В древнетюркском языке имя прилагательное в позиции приглагольного определения оформлялось аффиксом *-dy* или аффиксом инструментального падежа *-n*: *Edgüti ešitip* 'Хорошо выслушав' (ДТС, стр. 163); *Tidiysizın birtäm kelir* 'Без задержки, сразу он придет' (ДТС, стр. 565). В современных тюркских языках, кроме якутского, имя прилагательное в функции приглагольного определения никаких аффиксов не принимает, таким образом, приименное и приглагольное определения выражаются одной и той же формой.

В тюркских языках в результате превращения самостоятельных слов в аффиксы ярко проявляется тенденция к переходу аналитических форм в синтетические.

Предикативные показатели в древнетюркском языке представляют собой самостоятельные слова — личные местоимения, сохраняющие свой звуковой состав неизменным, независимо от звукового состава предшествующего слова: *Altun başlıy jılan men* 'Я, змея с золотой головой' (ДТС, стр. 88). В современных тюркских языках предикативные показатели в большинстве случаев превратились в аффиксы.

В тюркских языках наблюдается также переход послелогов в аффиксы. Например, в чувашском языке аффикс причинно-целевого паде-

жа *-şän* восходит к послелогу *üçün*⁷, в турецких диалектах послелог *için* превращается в аффикс⁸.

В древнетюркском языке синтетические глагольные формы отсутствуют (в данном случае под синтетическими имеются в виду такие глагольные формы, в состав которых входят аффиксы, происходящие от самостоятельных глаголов). В современных тюркских языках синтетические глагольные формы широко распространены. В большинстве из них аналитические формы глагола, состоящие из основного глагола и вспомогательного глагола *tur-* 'стоять', превратились в синтетические⁹. Формы настоящего времени данного момента в ряде тюркских языков представляют собой синтетические формы, восходящие к аналитическим. Например, в турецком языке форма *-yor* происходит от сочетания деепричастия на *-i* с формой настоящего-будущего времени глагола *uyü-* 'ходить'. В сарыг-югурском языке форма *-npar* образована путем сочетания деепричастия *-n* с глаголом *par-* 'идти'. В азербайджанском языке формы прошедшего незаконченного времени *-ырды*, будущего в прошедшем *-ачагды*, давнопрошедшего *-мышды* восходят к аналитическим формам, состоящим из сочетания форм *-yr*, *-аҗаг*, *-туш* с прошедшим категорическим временем глагола *er-* 'быть'.

Во всех языках наблюдается переход самостоятельных слов в аффиксы, однако в тюркских языках эта тенденция выражена наиболее сильно. С нашей точки зрения, важным фактором, обуславливающим ее активность, следует считать ярко выраженное стремление к непрерывности потока речи, характерное для тюркских и других агглютинативных языков. Непрерывность потока речи облегчает образование единых агглютинативных комплексов, отдельные компоненты которых утрачивают самостоятельность.

На протяжении всей истории тюркских языков в них наблюдались тенденции к выражению разных значений и функций различными формами и к переходу аналитических форм в синтетические. Эти тенденции в значительной степени определяют характер изменений грамматического строя тюркских языков.

Важным фактором, влияющим на процессы развития грамматического строя тюркских языков, является действие универсальной тенденции сохранения языком существующего состояния¹⁰. Проявлением этой тенденции следует объяснить выражение каузативных значений в современных тюркских языках несколькими аффиксами. Исторически это обусловлено тем, что в процессе интеграции тюркских языков одновременно использовались формы, характерные для различных языков и диалектов. Казалось бы, действие противоположной тенденции выражения одинаковых значений одной формой должно было привести к устранению параллельных способов передачи каузативных значений и к выражению их в каждом тюркском языке только одной формой. Однако этого не произошло, так как в языке сильна тенденция к сохранению неизменной существующей системы грамматических форм.

⁷ А. М. Шербак. Указ. раб., стр. 59.

⁸ Ergin Muharrem. Türk Dil Bilgisi. Sofya, 1967, стр. 349.

⁹ Н. А. Баскаков. Выражение глагольных категорий вида и залога в морфологической структуре слова в тюркских языках. — В кн.: «Типология грамматических категорий». М., 1975, стр. 161.

¹⁰ Б. А. Серебrenников. Указ. раб., стр. 82—83.

А. МАТГАЗИЕВ

О РОЛИ ПИСЬМЕННО-ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

(ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ XIX—XX ВЕКОВ)

I

Узбекский язык, принадлежащий к числу старописьменных тюркских языков, имеет богатую письменную традицию. Этому во многом способствовало формирование в XVIII—XIX веках крупных литературно-языковых центров: Коканда, Маргилана, Андижана, Намангана, Ташкента, Каттакургана, внесших значительный вклад в развитие художественной литературы. В этот период узбекский язык стал широко применяться и в делопроизводстве. Тогда же появились новые переводы с арабского, персидского и русского языков. Благодаря всему этому получили развитие функциональные стили литературного языка: официально-деловой и публицистический. Таким образом, расширились социальные функции узбекского языка, стала совершенствоваться его лексико-грамматическая система.

Язык письменных памятников конца XVIII и первых трех четвертей XIX века отображает завершающий и наиболее развитый этап в истории староузбекского языка. К этому времени выходит из употребления ряд аффиксов, характерных для предыдущих периодов: аффикс наречий *-sizin*, аффикс разделительных числительных *-šar/-šär*, аффикс повелительно-желательного наклонения 1-го лица множественного числа *-ajum/-äjim* и 2-го лица единственного числа *-u/-ü* (ср. *axtaru*) и некоторые другие. Вместе с тем появляются: новые грамматические формы — абстрактной принадлежности на *-niki*, 3-го лица единственного числа прошедшего субъективного времени на *-b + di*, деепричастия на *-yanu/-gäni* и *-yanda/-gändä*, наречия типа *özümčäsigä* 'по-своему', частица *-či*, союзы *värnä, gärnä, čägäki, zigäki* и т. д. Отдельные аффиксы подверглись фонетическим, семантическим и функциональным изменениям.

Однако, несмотря на все это, староузбекский язык классического периода не претерпел сколько-нибудь значительных изменений, что подтверждает справедливость нижеследующих слов И. А. Бодуэна де Куртенэ: «Периоды развития языка не сменялись поочередно, как один караульный другим, но каждый период создал что-нибудь новое, что при незаметном переходе в следующий составляет подкладку для дальнейшего развития»¹. Грамматический строй и словарный состав каждого отдельно взятого этапа, считал И. А. Бодуэн де Куртенэ, может содер-

¹ И. А. Бодуэн де Куртенэ. Некоторые общие замечания о языковедении и языке. — Цитируется по кн.: В. А. Звегинцев. История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях, I. М., 1964, стр. 277—278.

жать элементы, свойственные языку старшего и младшего поколения данного языкового коллектива. Именно такие элементы он называл «слоями языка» и выявление их считал одной из основных задач языкознания².

При анализе языка узбекских текстов конца XIX — начала XX века нам удалось установить факты функционирования устаревших форм параллельно с новыми, обычными для современного узбекского языка:

а) еставление и опущение интерфикса *-n-* между аффиксами принадлежности и местных падежей, ср.: *хаёл манзарасинда* (Хамза, I, 240) 'в панораме мысли', *маёюсият ичида* (УК, 52) 'в отчаянии';

б) наличие у притяжательного местоимения 1-го лица аффиксов *-it* и *-it̃*, например: *меним фикрим* (УК, 16) 'мое мнение', *бизим интернат* (Хамза, I, 242) 'наш интернат', *менинг пулим* (Хамза, II, 17) 'мой деньги', *менинг тоқатим* (УК, 44) 'мое терпение';

в) использование послеложных конструкций с именами в форме основного и родительного падежей: *сенинг билан гаплашмайман* (Хамза, II, 162) 'с тобой не буду разговаривать', *кутидорнинг қизини сизнинг учун уқашиб келдик* (УК, 46) 'для вас посватаны дочери кутидора (один из придворных чинов в Кокандском ханстве того времени.—А. М.)', *мен сиз билан кўришаман* (Хамза, II, 150) 'я встречаю с вами';

г) употребление вариантов личного местоимения 3-го лица *у* и *ул*, *ан-* и *ун-* (в форме местных падежей): *у ишонса* (УК, 76) 'если он верит'; *ул юз ёғирди* (УК, 71) 'он отворачивался', *Маҳмудхон анга қараб* (Хамза, II, 9) 'Махмудхан смотрел на нее';

д) употребление вариантов исходного падежа *-дан* и *-дун*, ср.: *сирлардан хабардор бўлиб* (Хамза, I, 240) 'узнав о тайнах', *оталаридин қолмиш мулклари* (Хамза, I, 237) 'имения, оставленные отцом', причем вариант *-дан* явно преобладает;

е) в источниках XIX века доминирует форма имени действия на *-тақ/-тақ*, формы на *-уш* и *-ив* встречаются очень редко. В языке же произведений Хамзы и Кадыри они одинаково употребительны, ср.: *Овора бўлмоқнинг нима зарурати бор? Бунда овора бўлиш деган нарса йўқ* (УК, 11) 'Зачем нужно беспокоиться? Здесь нет никакого беспокорства', *йқув-ёзувни танув* (Хамза, I, 240) 'знание чтения и письма'. В современном узбекском языке чрезвычайно продуктивна форма на *-уш*. Так, в романе Айбека «Қутлуғ қон» («Священная кровь») форма на *-тақ* встречается 29 раз, форма на *-уш* — 1337 раз³;

ж) в 3-м лице настоящего времени лично-предикативный показатель имеет два варианта: *-dir* и *-di*, являющиеся усеченными разновидностями глагола-связки *tugur/dugur*, ср.: *Кумуш келгач, мажлисга руҳ киришига барча ишонади ва уни тўзимсизланиб кутадир* (УК, 51) 'Когда приходит Кумуш, атмосфера собрания оживляется и поэтому ее ждут с нетерпением'. В современном узбекском языке используется вариант *-di*, ср.: *бага + тап, бага + сан, бага + di*. В употреблении в именных сказуемых лично-предикативного показателя *-dir* отмечается вариативность иного рода — указанный показатель может опускаться, ср.: *бу шунинг қизидир* (УК, 10) 'эта его дочь', *бу киши отангизнинг яқин дўстларидан Мирзакарим қутидор* (УК, 12) 'этот человек — один из близких друзей вашего отца — кутидор Мирзакарим', *ҳар бир нарсадан у масала оғир* (Хамза, II, 11) 'этот вопрос сложнее всех'. В современном узбекском языке данный показатель факультативен. В использовании вариантов *-ar* и *-ur*, *-dirgān* и *-digān*, *-gūvdi* и *-ivdi* наблюдается параллелизм. Показа-

² И. А. Бодуэн де Куртэнэ. Указ. раб., стр. 279.

³ См.: Ф. Исхаков. Имена действия и состояния в современном узбекском языке (формы на *-иш*, *-моқ*, *-ув*). Автореф. канд. дисс. Самарканд, 1960, стр. 7.

тельно, что в начале XX века в узбекском языке появляются формы, не встречающиеся в источниках XIX века, например, форма настоящего конкретного времени на *-jar*; ср.: *бошим айланиб кетаяпти-я* (Хамза, II, 167) 'у меня голова кружится'. По поводу появления этой формы и ее диалектных вариантов в современном узбекском языке В. В. Решетов делает два предположения: либо эти глагольные формы, являющиеся нормой для современного узбекского языка, уже использовались в узбекских говорах XV века, хотя и не нашли отражения в письменном языке, либо же появление их относится к более позднему времени⁴. Материалы письменных памятников староузбекского языка подтверждают правильность второго предположения. Далее должны быть упомянуты: неопределенные местоимения типа *кимдир* и *аллаким*, аналитическая конструкция с глаголом *jaz-* в качестве вспомогательного компонента, выражающая значение «едва», «чуть не»: *бўйи ҳам онасига етаёзган эди* (УК, 29) 'и ростом она чуть не догнала мать'; форма на *-gänlikdän*, выражающая причинность: *Тошкент ашрофлариникг кўплари билан алоқадор бўлганликдан, балки отангиз билан таниш чиқар* (УК, 11) 'Так как он имеет связь со многими знатными людьми Ташкента, возможно, он знаком и с вашим отцом'.

Сравнение морфологического строя современного узбекского литературного языка и языка письменных памятников XIX века показывает, что существенных различий между ними нет. Причина этого кроется в самой природе грамматического строя языка, в отличие от других языков, изменяющегося очень медленно и почти незаметно. С другой стороны, следует помнить, что узбекский язык XIX века является как бы связующим звеном между староузбекским и современным узбекским языками и поэтому имеет много общего с последним.

Однако наряду с этим имеются и определенные различия, обусловленные рядом факторов, в частности изменениями формально-структурного, семантико-функционального и грамматико-стилистического характера. Приведем некоторые из них:

а) появление новых словообразовательных и словоизменительных аффиксов существительных (*-ist, -izm, -laštiriš*), прилагательных (*-ildaq, -tačaq, -il, -al*), числительных (*-tača*), наречий (*-igā, -laj*), глагола (*-jar, -jatir, -jaz*), использование нового способа словообразования — аббревиации;

б) расширение сферы употребления словообразовательных аффиксов *-či, -lik, -li, -čilik, -siz, -dek, -ča, -dāgi*, аффикса *-niki*, форм числительных на *-ta, -tača, -av, -ala*, глагольных форм на *-ajlik, -gin, -a + man, -maqda*, форм имени действия на *-iš, -uv*, деепричастных форм на *-gāni, -gändä, -gäč*,

в) сужение сферы употребления аффиксов существительных (*-dār, -kaš*), прилагательных (*-dān, -vār*), глаголов (*-da, -ra, -al*), собирательных числительных (*-avlan*), имени действия (*-maq*);

г) фонетические изменения отдельных форм. В связи с утратой сингармонизма в современном узбекском литературном языке число фонетических вариантов аффиксов намного сократилось. Произошли и другие изменения, например: *-yuvčyl-güvči > -uvči, -luk > -lik, -sun > -sin, -mu > -mi, -šul > -šu, -ošul > -oša* и др.;

д) семантическое развитие: аффикс разделительных числительных *-ar* стал употребляться только с числительным *bir* и выражать неопределенность; ср. *birar sāat* 'около часа'; глагольная форма на *-ar* в староузбекском языке имела значения настоящего и настоящего-будущего

⁴ В. В. Решетов. Узбекский язык. Ч. I. Ташкент, 1959, стр. 26.

времени⁵, в современном узбекском языке она употребляется в значении будущего-неопределенного времени; форма на *-sa keräk* в языке исследуемого периода выражала значение долженствования: *Кордон исмининг аксини қўйсалар керак эди* (Гулханий, 19) 'должны были назвать тебя не Кордоном, а наоборот'; в настоящее время подобные конструкции выражают предположение, неопределенность; ср. *бугун ёмғир ёғса керак* 'вероятно, сегодня будет дождь';

е) функциональные изменения отдельных форм и конструкций: совершенно не встречаются слова в родительном падеже в функции сказуемого. Это объясняется расширением сферы употребления формы абстрактной принадлежности на *-niki*, выступающей в основном в указанной функции; по нормам современного узбекского языка недопустима взаимозаменяемость родительного и винительного, дательно-направительного и местного падежей, что было вполне обычно для языка отдельных источников исследуемого периода; также не встречаются случаи употребления причастной формы на *-ar* в функции имени действия, случаи присоединения аффикса *-lar* к наречиям образа действия, меры и степени; не отмечено повторное использование союза *va* между однородными членами, а также употребление условного союза *ägär* в уступительном и разделительном значениях;

ж) исчезновение встречающихся в языке XIX века арабско-персидских форм множественного числа, показателя персидского изафета, «вставочного» *-n-*, словообразовательных аффиксов *-gin*, *-nāk*, *-vaš*, аффикса порядковых числительных *-lāmzi/-lānzi*, глагольных форм на *-aly/-āli*, *-aly/-āliq*, *-turur/-tur*, *-myš/-miš*, *-man/-mān*, *-an/-ān*, *-duq/-dük*, *-qaly/-gāli*, *-ban/-bān*.

Приведенный краткий сравнительный анализ морфологических особенностей современного узбекского литературного языка и языка исследуемого периода показывает, что в течение столетия узбекский язык претерпел определенные изменения, его грамматический строй значительно усовершенствовался. Изменения касаются различных сторон той или иной грамматической категории и формы. Однако, как отмечает Ю. Д. Дешериев, «Фонетические и морфологические изменения скорее всего относятся к унификации, стандартизации языковых явлений — чаще всего по законам аналогии»⁶.

II

Нормативность — один из основных признаков литературного языка, прежде всего его письменной формы. Выработанные классиками узбекской литературы — Лутфи, Навои, Бабуром, литературно-языковые нормы продолжали совершенствоваться в языке писателей XVIII—XIX веков. По нашим наблюдениям, в языке не только литературных и исторических, но и фольклорных произведений использовались формы, распространенные в то время во всех узбекских литературно-языковых центрах. Число диалектизмов незначительно. В закреплении литературно-языковых норм ведущую роль играли писатели, историки, переводчики и, в особенности, *катибы* (писари). Вместе с тем «Литературный язык — категория историческая: степень обработанности, строгость отбора и регламентации могут быть неодинаковыми не только в разных литературных языках, но и в разные периоды истории одного и того же

⁵ Ш. Шукуров. Узбек тилида феъл замонлари тараққиёти. Тошкент, 1976, стр. 129—131.

⁶ Ю. Д. Дешериев. Социальная лингвистика. М., 1977, стр. 186.

языка»⁷. Поэтому фонетические, лексические и грамматические нормы староузбекского языка во многом не сопоставимы с нормами современного узбекского литературного языка, функционирующего в условиях исключительной интенсификации различных способов и средств письменного и устного общения.

В донациональную эпоху письменно-литературный язык почти не оказывает влияния на нормирование разговорного языка. Как отмечает В. В. Виноградов, «Нормы — еще очень зыбкие в период существования народности — замыкаются в то время в узких пределах письменно-литературного языка и не оказывают заметного влияния на общенародный язык и его диалектные ответвления»⁸. Сказывается отсутствие массово-коммуникативных средств устного общения и малодоступность письменных источников: до Великой Октябрьской социалистической революции распространение различных источников письменно-литературного языка среди широких масс узбекского народа было весьма незначительным. Во-первых, большинство населения было неграмотным, во-вторых, художественные и исторические произведения переписывались от руки и имелись всего в нескольких экземплярах.

Развитию общенародного разговорного языка препятствовал, кроме того, частично сохранявшийся кочевой образ жизни. Заметное усиление процесса перехода к оседлому образу жизни началось лишь в конце прошлого столетия. Накануне революции кочевники составляли около тридцати процентов сельского населения Туркестана⁹.

Культурно-экономическая отсталость и изолированность отдельных районов, общий низкий экономический уровень края и локальный характер производства в ханствах и эмирате, отсутствие крупных промышленных центров и концентрации рабочей силы и т. п. препятствовали расширению языковых связей и способствовали консервации диалектных черт¹⁰.

Авторы первых практических грамматик узбекского языка, основанных на материалах живого народного языка и его диалектов, имели ясное представление об основных различиях между кокандским, бухарским и хивинским наречиями. «Джагатайский (узбекский) язык, — писал А. Старчевский, — распадается, подобно политическому разделению ханств, на три наречия, которые хотя тотчас понимаются всеми жителями, однако каждое из них имеет еще свои оттенки и особенности, которые следует приписать частью существующим естественным границам, частью же историческим событиям»¹¹. Названные три наречия, объединяющие местные говоры сельского населения, противопоставляются городским диалектам, именуемым этими авторами «сартовским языком».

В практических грамматиках и пособиях описаны основные фонетические, лексические и грамматические особенности узбекского народно-разговорного языка второй половины XIX века. В них выделены и отдельные элементы книжно-письменного языка. Приведем такой факт: «Разница между формами *анинг, анга, андин* и *унинг, унга, ундин* состо-

⁷ «Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка». М., 1970, стр. 502.

⁸ В. В. Виноградов. Избранные труды. История русского литературного языка. М., 1978, стр. 180.

⁹ В. В. Бартольд. История культурной жизни Туркестана. Сочинения, т. II, часть 2. М., 1964, стр. 295.

¹⁰ В. В. Решетов. Узбекский национальный язык. — В сб.: «Вопросы формирования и развития национальных языков». М., 1960, стр. 129; М. Вахобов. Узбек социалистик миллати. Тошкент, 1960, стр. 83.

¹¹ А. Старчевский. Спутник русского человека в Средней Азии. СПб., 1878, стр. 6.

ит в том, что первые — книжные, вторые — разговорные»¹². Уже в то время исследователями были выявлены прогрессивные тенденции в развитии центральных городских диалектов. В этом отношении большой интерес представляет замечание З. А. Алексева о том, что «закон созвучия (сингармонизм. — А. М.) совершенно исчез в разговорном сартовском языке»¹³. Очевидно, здесь имеется в виду ташкентский диалект. В другом месте автор отметил, что в сартовском языке вместо обычных сингармонических вариантов дательного-направительного падежа *-ga/-gä* употребляется один — *-ga*¹⁴.

Таким образом, в XIX веке письменно-литературная форма узбекского языка обрела определенную нормативность, однако не могла еще оказывать существенное влияние на разговорный язык.

После победы Великого Октября в результате осуществления ленинской национальной политики в нашей стране были созданы все условия для формирования и развития социалистических наций и национальных языков. В конце тридцатых годов полностью сформировалась узбекская социалистическая нация, и ее язык стал одним из развитых национальных литературных языков Советского Союза. Начальным же этапом формирования узбекского национального языка следует считать XIX век. Именно в этот период создаются необходимые предпосылки для развития литературного языка, так как «оформление национального литературного языка до известной степени подготавливается еще в донациональный период, поскольку письменно-литературные языки имеются и в эпоху существования народности»¹⁵.

III

Соотношение роли письменно-литературного и разговорного языков в нормировании общенационального языка зависит от конкретных исторических условий: порою решающую роль играет письменно-литературная традиция, в других случаях — она оказывается на втором плане.

Ф. П. Филин пишет, что письменность — одна из характерных особенностей литературного языка, которая поднимает речевой текст на более высокую ступень организованности и придает языку свойства средства общения, неограниченного рамками пространства и времени¹⁶. Главным источником письменно-литературного языка является художественная литература, оказывающая огромное влияние на становление и развитие его лексико-грамматических и стилистических норм. Вопрос о роли художественной литературы и связанной с ней языковой традиции в формировании национального языка сложен и многогранен¹⁷. В исследованиях по истории узбекского языка и литературы часто говорится о «высоком стиле» языка произведений классиков узбекской литературы, о насыщенности его арабизмами и фарсизмами¹⁸. Однако своеобразие стиля классической литературы составляет прежде всего его лекси-

¹² З. А. Алексеев (с участием А. Вышногогорского). Самоучитель сартовского языка. Чтение, письмо и грамматика сартовского языка. Ташкент, 1884, стр. 37.

¹³ Там же, стр. 23.

¹⁴ Там же, стр. 26.

¹⁵ М. М. Гухман. Некоторые общие закономерности формирования и развития национальных языков. — В сб.: «Вопросы формирования и развития национальных языков». М., 1960, стр. 295.

¹⁶ Ф. П. Филин. Что такое литературный язык. — «Вопросы языкознания», 1979, № 3, стр. 18.

¹⁷ В. В. Виноградов. Указ. раб., стр. 295.

¹⁸ В. В. Решетов. Узбекский национальный язык, стр. 126.

ческий уровень. Что же касается грамматической системы, то здесь это своеобразие проявляется незначительно. Так, в языке произведений поэтов XV века арабские и персидские лексические элементы составляют от 43 до 58 процентов¹⁹. В дальнейшем этот процент постепенно снижается. Например, в басне Гульхани «Тошбақа билан Чаён» («Черепаша и Скорпион») арабские и персидские слова составляют 37%, а в стихотворении его современника Махмура «Хапалак» — 40%, в произведениях Мукими «Танобчилар» и «Саяхат-наме» — не более 35%.

Н. И. Конрад подчеркивал, что активное употребление и утверждение элементов народного языка в японской и китайской литературах связано с развитием реализма²⁰. Это высказывание можно полностью отнести и к узбекской литературе дооктябрьского периода. Параллельно с идейно-художественной эволюцией творчества писателей постепенно изменяется, приобретает все более народный характер язык их произведений. Так, например, в газете Хамзы «Бир махлиқо», написанной в 1908 году, из 200 слов 95 — арабского и персидского происхождения, что составляет 47,5%, тогда как в его же произведении «Хикоя» («Рассказ»), датированном 1914 годом, арабские и персидские заимствования составляют лишь 16%. Многие прилагательные, наречия, нумеративы, союзы и другие слова арабского и персидского происхождения, функционировавшие в языке источников XIX века, в современном узбекском языке не употребляются. Шире стали использоваться заимствования из русского языка. Сохранившиеся же слова арабского и персидского происхождения настолько утвердились в современном узбекском языке, что их иноязычное происхождение почти не ощущается. Что же касается использования отдельными поэтами и писателями архаических элементов, то это следует рассматривать как стилизацию или иной художественный прием²¹.

В развитии литературного языка важную роль играет художественная литература. Благодаря ей проникают в письменно-литературный язык элементы общенародного языка в письменно-литературный язык. «Творчество Пушкина, — писал В. В. Виноградов, — как высшее воплощение норм национально-русского литературно-языкового выражения является наиболее ярким доказательством того, что художественная литература — могучий двигатель развития языка»²². В языке произведений Муниса, Агахи, Гульхани, Махмура и других узбекских поэтов конца XVIII — первой половины XIX века нашли широкое отражение лексико-грамматические элементы народного языка.

Заметную роль в истории развития узбекского языка сыграло, например, сочинение Гульхани «Зарбул масал», представляющее собой замечательный образец художественной прозы дореволюционного периода²³. В этом произведении собраны и воспроизведены в диалогах аллегорических персонажей узбекские народные пословицы, поговорки и отдельные фольклорные сюжеты. В них отражены характерные особенности не только традиционного письменно-литературного, но и устно-разговорного языка того времени.

¹⁹ В. Д. Артамошина. Условия формирования и некоторые особенности языка среднеазиатских поэтов — предшественников А. Навои. — В сб.: «Тюрко-монгольское языкознание и фольклористика». М., 1960, стр. 17.

²⁰ Н. И. Конрад. О литературном языке в Китае и Японии. — В сб.: «Вопросы формирования и развития национальных языков». М., 1960, стр. 28.

²¹ А. К. Боровков. О языке узбекской поэзии. — «Общественные науки в Узбекистане», 1961, № 4, стр. 41—46.

²² В. В. Виноградов. Указ. раб., стр. 205.

²³ Ф. Исҳоқов. Гулханийнинг «Зарбул масал» асари. Тошкент, 1976, стр. 41.

Глубоким знатоком узбекского народного языка, его истории и диалектов был Шермухамед Мунис (1778—1829). В своих поэтических, исторических произведениях и переводах он широко пользовался богатými и разнообразными ресурсами народного языка. Особую ценность представляют историко-этимологические и диалектологические примечания Муниса в «Фирдаус-ал-икбал»²⁴. Он высоко ценил точную передачу значения слов, бережно относился к использованию их: *Қилса хосид дахли бежо сўз аро йўзгур ғамим, Ким бу мағнида Навоий руҳи ҳомийдур манга* (Мунис, 17) 'Не беспокоюсь я, если завистник вмешивается в мое словоупотребление, Ибо моя опора в этом — дух Навои'.

К народно-разговорному языку близок язык произведений поэтов-демократов Мукими (1853—1903), Фурката (1858—1909), Завки (1853—1921), Аваза (1884—1919), живших в период после вхождения Средней Азии в состав России. Произведения этих поэтов отличаются ясностью языка, изяществом стиля; в них представлены элементы просторечия, диалектизмы, бытовая лексика, фразеологические обороты, идиомы, пословицы и поговорки. Введение в произведения новых слов, заимствованных из русского языка, словообразование на основе этих заимствований (*пуржсиналик, номерлик, машиначи, завотчи, масковчи*), калькирование и словотворчество относятся к характерным особенностям языка поэтов-демократов.

Большой вклад в развитие современного узбекского литературного языка, в становление и закрепление его общенациональных норм внес основоположник узбекской советской литературы, первый узбекский драматург, поэт-новатор Хамза Хакимзаде Ниязи (1889—1929). Общественно-литературная деятельность его совпала с периодом коренных преобразований в духовной жизни узбекского народа в условиях ожесточенной классовой борьбы. Необходимо было решить многие вопросы языкового строительства: упорядочение графики, орфографии, терминологии, принципы установления норм литературного языка. Хамза твердо стоял на позициях максимального сближения литературного и общенародного языков.

IV

Вместе с узбекским письменно-литературным языком постепенно развивалась и разговорная речь. «Хотя устная речь замечательно устойчива по своей лексике и еще устойчивее по своим грамматическим формам, но она не может оставаться неизменной», — писал К. Маркс²⁵. Становление и закрепление фонетических, лексических и грамматических норм устно-разговорной формы узбекского литературного языка стало более интенсивным в период после победы Великого Октября. В. В. Виноградов отмечал, что «В развитии народных языков наблюдаются некоторые общие закономерности в преднациональную эпоху в движении от интердиалектных форм (обычно устных) до национального литературного языка нового времени. Образуются так называемые культурные диалекты, которые ложатся в основу литературно-письменной традиции и оказывают большое влияние на формирование и развитие национального литературного языка»²⁶.

²⁴ А. Матгазиев. Историко-этимологические примечания Муниса в «Фирдаус-ал-икбал». — «Советская тюркология», 1979, № 1, стр. 86—89.

²⁵ К. Маркс. Конспект книги Льюиса Г. Моргана «Древнее общество» — К. Маркс и Ф. Энгельс «Сочинения». М., 1975, т. 45, стр. 286.

²⁶ В. В. Виноградов. Указ. раб., стр. 294.

Узбекский язык, в отличие от других тюркских языков, имеет множество диалектов и говоров, разнообразных по своим ареальным и этнолингвистическим особенностям. В свое время Е. Д. Поливанов подробно остановился на причинах и истоках пестроты и разнообразия узбекских диалектов²⁷. В связи с отсутствием главного политического, экономического и культурного центра края, до революции в Узбекистане не было единого «культурного диалекта» узбекского языка. Появление новых литературно-языковых центров еще более осложнило положение. Лишь в годы Советской власти появился единый административно-культурный центр — Ташкент, в котором начали интенсивно концентрироваться представители различных территориальных и диалектных групп узбекского народа. В итоге ташкентский диалект стал одним из основных диалектов, легших в основу узбекского национального литературного языка. В процессе отбора и регламентации фонетических и лексикограмматических норм современного узбекского литературного языка участвовали в той или иной степени почти все диалекты и говоры. Но, как утверждает большинство узбекских диалектологов, ведущее место здесь все же принадлежало ферганско-ташкентской группе говоров, причем фонетическая сторона в основном формировалась под влиянием произносительных особенностей ташкентского говора, тогда как морфология в преобладающей своей части восходит к ферганскому диалекту²⁸.

В формировании и развитии узбекского национального литературного языка важную роль играли и такие послереволюционные экстралингвистические факторы, как расцвет национальной культуры и успехи в области народного образования. В выработке и внедрении норм литературного языка большое значение имела также целенаправленная деятельность соответствующих научных учреждений и учебных заведений.

Внутренние и внешние факторы явились могучими импульсами развития узбекского литературного языка, прошедшего путь от языка народности до языка нации.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- | | |
|----------|--|
| Гулханий | — Гулханий. Зарбул масал ва газаллар. Тошкент, 1960. |
| Мунис | — Мунис. Танланган асарлар. Тошкент, 1957. |
| ЎК | — Абдулла Қодирий. Утган кунлар. Тошкент, 1958. |
| Ҳамза | — Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий. Асарлар. Икки томлик. Тошкент, 1960. |

²⁷ Е. Д. Поливанов. Узбекская диалектология и узбекский литературный язык. Ташкент, 1933.

²⁸ В. В. Решетов. О диалектной основе узбекского литературного языка. — «Вопросы языкознания», 1955, № 1, стр. 100—108; *его же*. Узбекский язык, стр. 50; Ш. Шоабдурахмонов. Узбек адабий тили ва ўзбек халк шевалари. Тошкент, 1962, стр. 30—32

Г. Н. ЗИКРИЛЛАЕВ

КОМПОНЕНТНЫЙ АНАЛИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ФОРМ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Категории времени и наклонения неразрывно связаны между собой¹, поэтому часто выдвигается вопрос о необходимости изучения их в единстве².

Настоящая статья ставит целью попытаться раскрыть методом компонентного анализа семантическое содержание³ синтетических форм прошедшего времени изъявительного наклонения. Согласно этому методу, семантическое содержание грамматической формы делится на минимальные компоненты (или элементы), называемые «семами»⁴.

Семантическое содержание форм изъявительного наклонения складывается из суммы входящих в эти формы дифференциальных сем и определяется их отношением к семам, что является весьма важным для системы изъявительного наклонения. В соответствии с автосемантической и синсемантической форм изъявительного наклонения существенные для данной системы семы проявляются либо в нейтральном, либо в благоприятном (то есть удобном) контексте⁵.

Отношение к определенной дифференциальной семе, общей для ряда форм изъявительного наклонения, может быть неодинаковым, или отношение одной и той же формы к данной семе — различным, в зависимости от лица. В связи с этим должны быть учтены следующие обстоятельства, относящиеся к дифференциальным семам: 1) данная сема отмечена в самой форме, то есть проявляется в нейтральном контексте — в таблице обозначается знаком (+); 2) данная сема не отмечена в форме, но и не исключается, то есть выражается в благоприятном контексте (+/—); 3) возможность выражения данной семы ограничена, то есть в большинстве случаев не реализуется [(+)/—]; 4) ограничена возмож-

¹ С. Н. Иванов. Родословное древо тюрков Абул-Гази-Хана. Ташкент, 1969, стр. 135.

² Х. Г. Нигматов. Соотношение категорий времени и наклонения в тюркском глаголе. — «Советская тюркология», № 5, 1970; *его же*. Феълда майл ва замон категорияларининг муносабати. — В журн.: «Узбек тили ва адабиёти», 1971, № 1; *его же*. Морфология языка восточнотюркских памятников XI—XII веков. Автореф. докт. дисс. Баку, 1978, стр. 33—34.

³ А. В. Бондарко. Грамматическая категория и контекст. Л., 1971, стр. 78.

⁴ Е. И. Шендельс. Многозначность и синонимия в грамматике. М., 1970, стр. 27.

⁵ Нейтральный контекст не включает каких бы то ни было средств, влияющих на дифференциальные семы форм изъявительного наклонения или способствующих их проявлению. В благоприятном же контексте имеются определенные средства, способствующие проявлению дифференциальных сем. Иногда благоприятный контекст состоит из одного предложения (микрконтекст), а иногда из нескольких предложений или целого абзаца (макроконтекст) (см. Г. В. Колшанский. О природе контекста. — «Вопросы языкознания», 1959, № 4).

ность невыражения данной семы, то есть в большинстве случаев реализуется [+/(—)]; 5) данная сема исключена, то есть не выражается ни в нейтральном, ни в благоприятном контексте (—).

Формы изъявительного наклонения могут транспонироваться в нетипичные для них речевые условия, иначе говоря, употребляться в неблагоприятных для их дифференциальных сем контекстах. При этом в зависимости от средств микро- или макроконтраста подавляется (нейтрализуется) одна или несколько сем этих форм. Вместе с тем эти средства способствуют проявлению других сем, и в результате формы изъявительного наклонения вступают в синонимичные отношения либо между собой, либо с формами косвенных наклонений. Изучением этих отношений занимается стилистика. Ниже мы ограничимся выявлением: а) совокупности модальных и временных сем синтетических форм прошедшего времени изъявительного наклонения; б) степени отмеченности этих сем; в) возможности конкретизации и случаев нейтрализации данных сем.

Форма на -di. Дифференциальные семы этой формы проявляются в нейтральном контексте: *Plan bazarildi* 'План выполнен'; *Bola ujyondi* 'Ребенок проснулся'; *Salim ketdi* 'Салим ушел'. Действие в этих предложениях происходило до момента речи, то есть в прошлом, и говорящий его уже наблюдал. Вместе с тем оно полностью соответствует действительности. Следовательно, в нейтральном контексте в форме на *-di* проявляются семы: «прошедшее время», «непосредственное наблюдение» и «реальность».

В приведенных примерах проявляется еще одна сема, которая может быть названа «абсолютность», так как действие, выраженное формой на *-di*, соотносится с моментом речи непосредственно — его отношение к моменту речи носит абсолютный характер. Данная сема в форме на *-di* особенно ярко проявляется в тех случаях, когда эта форма выражает действия, последовательно сменяющие друг друга: *Toq otdi. Yani aka boşioyrib ujyondi. Kijim-boşini almaştirib sojga ötdi. Suvga tuşdi. Qajtdi. Buloq boşida töxtadi. Jaqindagi dard-alamlarini äsladi. Xomuşlandi* (Ш. Холмирзаев «Хаёт абадий») 'Рассвело. Гани-ака проснулся с головной болью. Переоделся, прошел в сай. Искупался. Вернулся. Остановился у источника. Вспомнил недавние мучения и обиды. Задумался'.

Таким образом, в форме на *-di* отмечаются четыре дифференциальных семы. Часто акт коммуникации требует конкретного проявления той или другой из этих сем. Так, сема «прошедшее время» конкретизируется лексическими средствами, выражающими понятие времени: *Hozirgina hujruq oldik* (Н. Сафаров «Наврўз») 'Мы только что получили приказ'; *Ärtalab uning qölida jañi uzuk körib qoldim* (У. Умарбеков «Ёз ёмғири») 'Утром я заметил на ее руке новый перстень'; *Bu voqea sodir bölganiga ön beş jildan oşdi* (О. Ёқубов «Улуғбек хазиnasi») 'Со времени этого события прошло пятнадцать лет'. Сема «реальность» конкретизируется усилительными модальными словами: *Albatta, Kamol qajnananing özgalarga balanddan qaraşini rajqadi* (Ш. Холмирзаев «Хаёт абадий») 'Конечно, Камал заметил, что теща смотрит на других свысока'; *Darhaqiqat, Safarining bu sözi imomning äski žarohatini mudhiş tuzlab taşladi* (А. Қодирий «Меҳробдан чаён») 'В самом деле, эти слова Сафара были солью, насыпанной на старую рану имама'.

В неблагоприятном контексте нейтрализуется одна или несколько дифференциальных сем формы на *-di*. Так, когда эта форма употребляется в контекстах, характерных для форм настоящего времени, то в ней подавляется сема «прошедшее время»: *Ana, mehmonlar kelişdi* 'Вот идут гости'.

Если форма на *-di* транспонируется в речевые условия будущего времени, то в ней утрачивается не только сема «прошедшее время», но и сема «непосредственное наблюдение»: — Saidxon aka... bu qandaj korgilik-a?... Andi men nima qildim? (У. Умарбеков «Ёз ёмғири») '— Саидхон ака... что же эта за напасть?... Что мне теперь делать?'.

Если в контексте имеются лексические средства, указывающие на далекое прошлое, то в форме на *-di* нейтрализуется только сема «непосредственное наблюдение»: A. Navoiy 1441 jilda tug'ildi 'А. Навои родился в 1441 году'. Сема «непосредственное наблюдение» подавляется не только в контекстах, где выражено действие, совершившееся в далеком прошлом, но и во всех случаях, когда говорящий лишен возможности непосредственно наблюдать действие: Munisxon nega keçqirun Çorsuga bordi? U jerda nima qildi? (У. Умарбеков «Ёз ёмғири») 'Почему Мунисхон вчера вечером ходила на Чорсу? Что она там делала?'.

Контекст может быть неблагоприятным для семы «реальность»: Ujda birov borligini pajqadi, šekilli, šošib kirdi (А. Мухтор «Чинор») 'Он, вероятно, почувствовав, что кто-то был в доме, поспешно вошел'; Aftidan, menga iŝonmadı (У. Умарбеков «Жўра қишлоқ») 'Внешне он мне не поверил'.

Когда форма на *-di* употребляется в контекстах, типичных для косвенных наклонений, то в ней подавляются сразу три семы: «прошедшее время», «реальность» и «непосредственное наблюдение»: Keldimi, albatta tuzoqqa ilinadi (Н. Сафаров «Наврўз») 'Коль он пришел, он обязательно попадет'; Qani, çopdik! Sajjora ularni sudrab ketdi (У. Умарбеков «Одам бўлиш қийин») 'Ну, побежали! — потащила их Сайера'.

Форма на *-ibdi*. Степень отмеченности некоторых дифференциальных сем в этой форме варьируется в зависимости от лица. Поэтому сперва остановимся на ее семмах, представленных в форме 3-го лица в нейтральном контексте: Samad imtihondan o'tibdi 'Самад выдержал экзамен'. В этом примере в форме на *-ibdi* проявляются семы «прошедшее время» и «абсолютность». Кроме того, форма на *-ibdi* выражает действие, которое говорящий сам не наблюдал, а узнал о нем у других. Следовательно, в этой форме отмечена также сема «услышанность». В таком случае возникает вопрос: не является ли предложение со сказуемым в форме на *-ibdi* косвенной речью?

Известно, что прямая и косвенная речи образуются синтаксически. Если из сложного предложения с прямой речью (— Salima paxta terdi, — dedi Zulfija '— Салима собирала хлопок, — сказала Зульфия') изъять авторскую речь, то исчезнут и признаки прямой речи, и она превратится в речь говорящего (Salima paxta terdi 'Салима собирала хлопок'). Если провести такой же эксперимент с косвенной речью (Zulfija Salimaniq paxta terganini ajtdi), то она превратится в словосочетание (Salimaniq paxta terganini). Если же сказуемое предложения имеет форму на *-ibdi*, то тем самым в нем выражается значение принадлежности к чужой речи (Salima paxta teribdi 'Салима собирала хлопок'). Поэтому предложение с формой на *-ibdi* имеет много общего с чужой речью, даже при наличии признаков, отличающих его от чужой речи. Так, в сложном предложении с прямой речью авторская речь информирует о принадлежности прямой речи конкретному лицу. Эта информация содержится и в косвенной речи, так как «в косвенной речи сохраняются главные (иногда и второстепенные члены) авторской речи»⁶. Единственное отличие предло-

⁶ А. Ф. Фуломов, М. А. Асқарова. Ҳозирги ўзбек адабий тили (Синтаксис). Тошкент, 1965, стр. 302.

жения со сказуемым в форме на *-ibdi* от косвенной речи, образованной синтаксическим путем, заключается в том, что в нем не содержится указания на источник сообщения. Поэтому такое предложение можно было бы характеризовать как особый вид косвенной речи.

В благоприятном контексте сема «услышанность» формы на *-ibdi* конкретизируется с помощью различных средств: *Ustod! Qalandar Qarpoqij olamdan ötibdi... Kim xabar qildi? Xabarni usta-bobo jetkazdi* (О. Ёкубов «Улуғбек хазинаси») — ‘Учитель! Умер Каландар Карнаки... Кто сообщил? — Известие доставил старый мастер’; *Olti kun deganda žavob keldi. Sodmon otaniñ öyli olib keldi žavobni. Xudojberdi Şořoziga tuşibdi. Sodmon otaniñ butun oilasini qator osibdi* (У. Умарбеков «Жўра қишлоқ») ‘За шесть дней пришел ответ. Ответ привез младший сын Шадман-ата. Худайберди напал на Шагази. Перевешал всех подряд в семье Шадман-ата’.

В неблагоприятном контексте данная сема нейтрализуется: *Mana otasi, Gulsaraxon sizni körgani kelibdi* (К. Яшин) ‘Вот, отец, Гульсарахон пришла вас повидать’; *Özim kördim, toş çar jelkasiga tuşibdi* (М. Исmoilий) ‘Я сам видел, камень упал ему на левое плечо’; *Darjoniñ köprigiga qarab jöl soldim. Borsam, darjo toşib köpriki suv olib ketibdi* («Халқ эртақлари») ‘Я пошел к мосту через реку. Прихожу, река переполнилась, мост снесло водой’. Под влиянием средств микро- и макроконтекста в этих примерах сема «услышанность» подавляется семой «непосредственное наблюдение». Однако действие в форме на *-ibdi* совершается до момента речи, а в момент же речи сообщается его результат. Поэтому говорящий является очевидцем не процесса совершения действия, как в форме на *-di*, а лишь его последствий.

В нейтральном контексте говорящий узнает о действии, выраженном формой на *-ibdi*, с чужих слов и не выражает своего субъективного отношения к его достоверности, то есть информирует о поведенном ему действии без модальных изменений. А это означает, что в 3-м лице формы на *-ibdi* содержится также сема «реальность».

Случай конкретизации и нейтрализации сем «реальность» и «прошедшее время» в форме на *-ibdi* в некоторой степени отличаются от аналогичных в форме на *-di*, что обусловлено свойствами семы «услышанность».

Во 2-м лице не только степень отмеченности дифференциальных сем, но и возможности их конкретизации совпадают с 3-м лицом. Так, для конкретизации семы «услышанность» служат и средства, важные для источника сообщения в микро- или макроконтексте: *Normurod Bojvaççaniñ ajtişlariga qaraganda, Olmaotadan binojidek tilmoç bölib qajtibsan* (Н. Сафаров «Наврўз») ‘По словам Нормурада Байбачи, ты вернулся из Алма-Аты прекрасным переводчиком’; *Şohizinda majdonida böl-lib ötgän porozilikni öziñiz köribsiz* (там же) ‘Вы сами видели волнения на площади Шах-и-Зинда’.

Однако во 2-м лице, в отличие от 3-го лица, субъект действия участвует в акте коммуникации в качестве слушателя, поэтому сема «услышанность» нейтрализуется чаще, чем в 3-м лице: *Hozir janada oçilibsan* (У. Умарбеков «Ёз ёмғири») ‘Ты стала теперь еще более красивой’; *Қип issiqmi, terlabsan Rano* (А. Қодирий «Мехробдан чаён») ‘День жаркий, ты вспотела, Рано?’. В этих примерах подавляется также сема «прошедшее время», а сема «реальность» проявляется так же, как в форме на *-di*.

В 1-м лице субъект действия является одновременно и говорящим, вследствие этого степень отмеченности семы «услышанность» иная, не-

жели во 2-м и 3-м лицах. Она здесь проявляется в благоприятном контексте: — Qajerdan olganinizni ham ajtdi. — Qajerdan olibman? Ördadan Özdadagi tilla magazindan (У. Умарбеков «Ез ёмғири») 'Он сказал также, где вы приобрели. — Где я приобрел? — На Урде. В ювелирном магазине на Урде'; Nikoja qilişlariča, kelişimiz bilan tappa taşlab oç-nahor uxlab qolibman (Н. Сафаров «Наврўз») 'Как рассказывают, я свалился как только пришли и заснул на голодный желудок'.

Контекст в 1-м лице может быть благоприятным и для семы «узнавание впоследствии»: Qoғyonga bir keča-ju, bir kunduzda jetib keldik. Men adaşib ketibman (У. Умарбеков «Жўра қишлоқ») 'До крепости мы добрались за сутки. Оказывается, я сбился с пути'; Ana şundaj öj-xajollar içida ujimizga jetib kelganimizni ham sezmadman (Н. Сафаров «Наврўз») 'Погруженный в эти мысли, я и не заметил, как мы добрались до дома'.

Форма на -gan. Отношение данной формы к отдельным семам неодинаково во всех лицах. Поэтому выявление дифференциальных сем следует начать с 1-го лица: 1. О, мен Дунајни suzib oтganman (У. Умарбеков «Уруш фарзанди») 'О, я переплывал Дунай'; Asitganman, lekin kоrganim jоq. — Men kоrganman. Gaplarini ham ašitganman (Н. Сафаров «Наврўз») — 'Я слышал, но не видел. — Я видел. И слышал их разговор'. 2. Ujlanganman (А. Қодирий «Ўтган кунлар») 'Я женат'; Men... meniñ tez jurişga madorim jоq, çarçaganman (Ш. Холмирзаев «Хаёт абадий») 'Я... у меня нет сил идти быстро, я устала'; Uzoqdan kelganman (А. Мухтор «Чинор») 'Я прибыл издалека'; Hali heç narsa deganim jоq (У. Умарбеков «Одам бўлиш қийин») 'Я пока еще ничего не сказал'. Во всех этих примерах прослеживается связь действия, выраженного формой на -gan, со своим субъектом. Эта связь воплощается в способности формы на -gan характеризовать субъект выполняемым им самим же действием⁷. Следовательно, в этой форме, в отличие от других синтетических форм прошедшего времени, на первый план выступает не сам процесс совершаемого действия, а характеристика его субъекта, что объясняется образованием формы на -gan от формы причастия прошедшего времени⁸. Указанная особенность присуща самому форманту -gan, образующему данный вид причастия⁹. Эту сему формы на -gan можно назвать «перфектностью»¹⁰. Как видно из примеров, ничто не способствует проявлению в них данной семы. А это говорит о том, что сема «перфектность» содержится в самой форме на -gan.

В приведенных примерах прослеживается также связь действия формы на -gan с моментом речи, причем связь неравноценная. Так, в предложениях первого пункта в момент речи в форме на -gan еще нет указания на результат действия, а в предложениях второго пункта оно имеется. Это объясняется различием речевых условий, то есть употреблением формы на -gan в различных контекстах. В предложениях первого пункта нет никакого указания на связь действия, выраженного формой на -gan, с моментом речи. Следовательно, форма на -gan здесь находится в нейтральном контексте. А в предложениях второго пункта контекст нельзя назвать нейтральным, так как наличие результата действия в момент речи выражается не самой формой на -gan, а другими средствами. Так, в трех предложениях объектом действия является сам субъект и действие переходит на него. А субъект участвует в акте ком-

⁷ «Хозирги замон ўзбек тили». Тошкент, 1957, стр. 399.

⁸ А. А. Коклянова. Категория времени в современном узбекском языке. М., 1963, стр. 80.

⁹ Л. Хожиев. Фельд. Тошкент, 1973, стр. 168.

¹⁰ См. об этом: С. Н. Иванов. Очерки по синтаксису узбекского языка. Л., 1959, стр. 25—26.

муникации в качестве говорящего. Поэтому результат действия выражен в момент речи¹¹. В последнем предложении эта функция выполняется лексическими средствами. Следовательно, сама форма на *-gan* в момент речи не указывает на наличие результата действия. Таким образом, в этой форме отмечаются также семы «прошедшее время» и «абсолютность».

Поскольку в 1-м лице говорящий одновременно является субъектом действия, то в его словах выражается непосредственное наблюдение им данного действия и достоверность последнего. Таким образом, в 1-м лице формы на *-gan* выражаются также семы «непосредственное наблюдение» и «реальность».

Некоторые дифференциальные семы могут проявляться конкретизированно или нейтрализоваться в зависимости от контекста. Но не все они занимают при этом одинаковое положение. Так, в 1-м лице форма на *-gan* очень редко употребляется в конкретизированном или неблагоприятном контекстах для сем «непосредственное наблюдение» и «реальность», что объясняется выражением данной формой действия, носителем которого является сам говорящий.

Во 2-м лице отношение формы на *-gan* к семе «перфектность» не отличается от аналогичного отношения в 1-м лице, то есть оно реализуется в нейтральном контексте и, в зависимости от него, может проявляться как результат совершившегося до момента речи действия. Что касается семы «непосредственное наблюдение», то степень ее выраженности иная, нежели в 1-м лице.

Говорящий и субъект действия во 2-м лице суть разные персоны, поэтому в нейтральном контексте непосредственное наблюдение действия говорящим не выражается. Вместе с тем нет и указания на то, что действие непосредственно не наблюдается. Вследствие этого данные семы проявляются в благоприятном для них контексте: 1. Olmanıñ ikki pal-lasidek jaraşıansızlar (А. Мухтор «Чинор») 'Вы подходите друг другу, как две половинки одного яблока'; Nazirquljon, keçadan beri tuz totigapıñ jöq (Н. Сафаров «Наврўз»), 'Назиркулжон, ты со вчерашнего дня ничего не ел'. 2. Samarqanddan xabar keldi. 14 avgust kuni sotilgan uzukni Ollojorov olgan äkan. Magazinçi uniñ suratidan tanıbdı (У. Умарбеков «Оқ калдирғоч») 'Из Самарканда пришло сообщение. Проданный 14 августа перстень приобрел Аллаярв. Продавец узнал его по фотографии'; Siz bu uzukni 14 avgust kuni Samarqanddan olgansız (там же) 'Вы купили этот перстень 14 августа в Самарканде'. В примерах первого пункта благодаря средствам микроконтекста реализуется сема «непосредственное наблюдение», а в примере второго пункта благодаря средствам макроконтекста проявляется сема «непосредственное ненаблюдение».

Во всех приведенных примерах содержание выраженного действия соответствует действительности, иначе говоря, в форме на *-gan* проявляется и сема «реальность». Следует сказать, что во 2-м лице для конкретизации и нейтрализации этой семы служат те же средства, что и в 1-м лице: Bibi xonim masjidi, Göri Amir maqbarasi, koşinkor şohizindani körgansız, albatta (Н. Сафаров «Наврўз») 'Вы, конечно, видели мечеть Биби-ханум, усыпальницу Гур-Эмир, покрытую изразцами Шах-и-Зинда'; Savdo va ži bilan kelgandirsiz (А. Қодирий «Утган кунлар») 'Вы, наверно, прибыли по торговым делам?'; Öziñiz ham işsiz jurib zerikkansız

¹¹ По этой же причине указанные глаголы в 1-м лице формы на *-di* также выражают результат действия в момент речи: *ujlandim* 'я женился', *çarçadim* 'я устал', *keldim* 'я пришел, я приехал'.

ёоу? (Ш. Холмирзаев «Ҳаёт абадий») 'Вам, вероятно, и самому надоело ходить без работы?'

В 3-м лице количество дифференциальных сем формы на *-gan* не отличается от их числа во 2-м лице. Но в нейтральном контексте субъект действия не принимает участия в процессе коммуникации. Поэтому в данном лице отсутствует возможность связи перфективного действия с моментом речи через свой субъект. Вследствие этого открывается широкий простор для выражения формой на *-gan* непосредственно не наблюдавшихся действий.

Понятно, что говорящий не может наблюдать события далекого прошлого; о них он получает сведения из какого-либо источника. Но когда речь идет о конкретных исторических личностях, явлениях, событиях, датах, то указания на источник сообщения не требуется, ибо и без того очевидно отсутствие непосредственного наблюдения: *A. Navoiy Hirotda tuyilgan* 'А. Навои родился в Герате'; *Begunij «Iliada»ni junon tilida oʻqigan men sizga ajtsam* (А. Мухтар «Чинор») 'Беруни читал «Илиаду» на греческом языке, скажу я вам'.

Естественно, не все исторические события известны слушателю, поэтому возникает необходимость в указании на источник сообщения. Эта функция выполняется различными лексическими средствами: *Rivojatlarga qaraganda, bu kitoblarning uʻch zildini allomalar sarboni mavlono Al Xorazmiy hazratlari oʻz tuborak qollari bilan bitgan* (О. Ёқубов «Улугбек казинаси») 'По преданиям, три тома этих книг написал своей благословенной рукой предводитель удивительных людей, его светлость господин Ал-Хорезми'; *Tarixdan biliʻimcha, bu shahardagi gurkiragan hajot moʻyul bosginidan kejin songan* (Ш. Холмирзаев «Ҳаёт абадий») 'Как мне известно из истории, жизнь в этом городе заглохла после монгольского нашествия'.

Говорящий не имеет возможности быть непосредственным наблюдателем и многих событий своего времени. Поэтому, сообщая о них слушателю, он либо подкрепляет их какими-нибудь доводами¹² (1), либо же ссылается на того, от кого получил сведения (2), что конкретизируется различными средствами в микро- или макроконтесте: 1. *Suvniʻn juzini oʻgimchak bosib olibdi, bu jerdan mol-pol, suv iʻctagan jaqin orada* (Ш. Холмирзаев «Ҳаёт абадий») 'Поверхность воды затянута паутиной, отсюда и скот уже долгое время не пил воду'; *Demak, arʻkaklar hamma parsas toʻyrisida oʻjlab, bir fikrga keliʻgan, dadasi kelib, unga soʻzlagan!* (Ойбек) 'Значит, мужчины обо всем подумали, пришли к единому мнению, а когда прибыл отец, рассказали ему!'¹³. 2. *Birovlar oʻlib ketgan dejiʻsadi, birovlar Namozniʻn oʻzi oʻldirgan dejiʻsadi* (У. Умарбеков «Жура қишлоқ») 'Одни говорят, что он умер, другие говорят, что его убил сам Намаз'; *Muxtorovniʻn oʻzi ajtib berdi. Oʻshanda u Orozdan qoʻrqqan, siriniʻn foʻsh boʻlishidan choʻcigan va oʻsha fursatniʻn oʻzidajoq* *Ɔodakka kiraveriʻsdagi oʻrikzor atagida ularniʻn hammasini ottirib taʻslagan* (там же) 'Мухтаров сам рассказал. Тогда он испугался Ураза, что тайна*будет раскрыта,, и

¹² С. Н. Иванов. Прошедшее перфективное время в современном узбекском языке. — В сб.: «Памяти акад. И. Ю. Крачковского». Л., 1958; А. Н. Кононов. Грамматика современного узбекского литературного языка. М.—Л., 1960, стр. 219; «Узбек тили грамматикаси», I том, «Морфология». Тошкент, 1975, стр. 480.

¹³ См.: А. Н. Кононов. Грамматика современного узбекского литературного языка, стр. 219.

тотчас приказал всех их расстрелять на краю абрикосовой рощи у въезда в Чадак'.

Сема «непосредственное наблюдение» реализуется главным образом в тех случаях, когда в микро- или макроконтексте имеются средства, выражающие контактность с моментом речи: «Giprogprojekt» (hozir) Aму bilan Sirdan fojdalaniş boş planini tuzgan (А. Мухтор «Чинор») '«Гипропроект» теперь составил генеральный план использования рек Аму и Сыр'; Bog mol-mulk talangan (jonimda sariq sāqa ham jōq) (У. Умарбеков «Жўра кишлоқ») 'Все имущество расхищено, при мне нет ни гроша'; (Bu ham) medal' olgan (У. Умарбеков «Одам бўлиш қийин») 'Он тоже получил медаль'. В этих примерах проявлению семы «непосредственное наблюдение» способствуют слова, заключенные в круглые скобки. Момент речи может выражаться также имплицитно: Misrdagi ulkan piramida 2300000 ta toşdan qurilgan 'Большая пирамида в Египте сложена из 2300000 камней'; Buxoro Zarafşon vohasida žojlašgan 'Бухара расположена в Зерафшанском оазисе'. В подобных случаях говорящий наблюдает и выражает не процесс действия, а его результат в момент речи.

Как видно из анализа фактического материала, средства, указывающие на источник сообщения, способствуя проявлению сем «непосредственное наблюдение» или «непосредственное ненаблюдение», вместе с тем конкретизируют их.

В 3-м лице возможности конкретизации сем «реальность» и «прошедшее время» шире, чем в других лицах, что объясняется различным отношением субъекта действия к акту коммуникации. Средства, конкретизирующие сему «реальность» в 3-м лице, отличаются от средств в других лицах лишь частотностью, а сема «прошедшее время» может конкретизироваться здесь практически всеми средствами, свойственными данной семе, что невозможно во 2-м и особенно в 1-м лице.

Средствами нейтрализации семы «реальность» служат частица *-dir*, модальные слова *şekilli*, *āhtimol*, *balki*, *çoyi*, особые словосочетания типа *bōlsa kerak*, *bōlişi kerak*, *bōlişi mumkin* и др. Синонимичные друг другу, эти средства различаются по степени выраженной в них предположительности: Samarqand registonidan oʻtganingizda Serdor, Uluybek, Tillakori nomi bilan olamga maşhur boʻlgan madrasalarga kōziņiz tuşgandir (Н. Сафаров «Наврўз») 'Когда вы проходили по Самаркандскому регистану, вы обратили свой взор, должно быть, на знаменитые медресе, известные под названиями Шердор, Улугбек, Тиллакары'; Ujlanganingizga kōr jil boʻlgan, šekilli (А. Қодирий «Ўтган кунлар») 'Вероятно, уже много лет прошло, как вы женились'. Если названные средства выражают предположение говорящего о реальности действия, которое он не смог сам непосредственно наблюдать, то недостаточный глагол *ātiş* указывает на предположительность сообщенного ему действия.

В форме на *-gan* сема «абсолютность» нейтрализуется в контекстах, характерных для семы «относительность»: Biz jigirma çoylik kişi jaņi qōşniniņ ujiga bordik. Bir uj va bir ajvonga jaxši paloslar, kōrpaçalar jozilgan, oʻrtada anvoi dasturxonlar... Biz ujga kirib oʻtirgandan kejin āşik jōnida huşsurat bir jigīt kōrindi (А. Қодирий «Меҳробдан чаён») 'Мы, приблизительно человек двадцать, пошли в дом к новому соседу. В одной из комнат и на веранде были растелены хорошие паласы, разбросаны курпачи, расставлены столики с разным угощением... После того как мы вошли и расселись, в дверях появился молодой человек'.

На основе вышеизложенного составлена нижеследующая таблица дифференциальных сем синтетических форм прошедшего времени и отношения этих форм к семам в парадигматическом плане.

Формы	Дифференциальные семы					
	Реальность	Прошедшее время	Абсолютность	Перфектность	Непосредственное наблюдение	Непосредственное ненаблюдение
<i>-di</i>	+	+	+	—	+	—
<i>-ibdi</i>	+	+	+	—	—	+
<i>-gan</i>	+	+	+	+	+/(—)	(+)/—

Как видно из таблицы, для синтетических форм прошедшего времени релевантны шесть сем, три из которых отмечены во всех синтетических формах. Первая из этих сем служит для различения их от форм косвенных наклонений, вторая — от форм настоящего и настоящего-будущего времени изъявительного наклонения. А на основе третьей семы синтетические формы образуют оппозицию с аналитическими формами, то есть с теми, в которых отмечена сема «относительность».

Отношение синтетических форм прошедшего времени к другим дифференциальным семам неодинаково, благодаря чему указанные семы служат для различения этих форм друг от друга.

СПИСОК ЦИТИРОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. О. Еқубов. Улуғбек хазинаси. Тошкент, 1974.
2. М. Исмоилий. Фарғона тонг отгунча. Иккинчи китоб. Тошкент, 1968.
3. А. Қодирий. Меҳробдан чаён. Тошкент, 1974.
4. А. Қодирий. Утган кунлар. Тошкент, 1974.
5. А. Мухтор. Чинор. Танланган асарлар. Тўрт томлик, III том. Тошкент, 1973.
6. Н. Сафаров. Наврўз. Тошкент, 1973.
7. «Ўзбек халқ эртаклари». Тошкент, 1977.
8. У. Умарбеков. Ёз емири. — «Оқ қалдирғоч» (қиссалар). Тошкент, 1974.
9. У. Умарбеков. Жўра қишлоқ. — «Оқ қалдирғоч» (қиссалар). Тошкент, 1974.
10. У. Умарбеков. Одам бўлиш қийин. Тошкент, 1974.
11. У. Умарбеков. Уруш фарзанди. — «Оқ қалдирғоч» (қиссалар). Тошкент, 1974.
12. Ш. Холмирзаев. Ҳаёт абадий (ҳикоялар). Тошкент, 1974.
13. К. Яшин. Гулсара. Танланган асарлар. Тўрт томлик. I том, Шеърлар, пьесалар. Тошкент, 1970.

Э. Ф. ИШБЕРДИН

УДАРЕНИЕ И СИСТЕМА ГЛАСНЫХ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА

Согласно давней традиции принято считать, что в башкирском языке существует экспираторное ударение, которое в основном (с небольшими отклонениями) фиксируется на последнем слоге слова¹. Однако изучение башкирского разговорного языка показывает, что в действительности строго фиксированное ударение в нем отсутствует: место его меняется в зависимости от эмфатической окрашенности слова. Поэтому можно сказать *áşarud*, *aşáurud*, *aşaurud* 'ешьте', не нарушив этим ни смысла, ни строя речи. Даже в словах, значение которых зависит от места ударения, таких, например, как *baemá* 'мостик' — *báema* 'не наступай', *halsú* 'плотогонщик' — *hálsy* 'положи, пожалуйста' и других, в разговорной речи возможны случаи смещения ударения: *bynda báema* ~ *bynda baemá* 'не наступай сюда', *şul da buldymy baemá* ~ *şul da buldymy báema* 'и это называется мостик!', *bürkende halsú* ~ *bürkende hálsy* 'сними пожалуйста, шапку', *halsú kilde* ~ *hálsy kilde* 'плотогонщик пришел' и др. Смысл таких слов уточняется только в самом контексте речи.

В башкирском языке ударение используется в основном для выражения экспрессии, эмоциональности или модальности. В обычной же речи, лишенной эмоциональной окраски (в живом разговорном языке это случается довольно редко), ударение почти не ощущается, например: 1. *Ataj, qajdan kiläheñ?* 'Отец, откуда идешь?' (обычный вопрос); *Ataj, qajdan kiläheñ?** (тот же вопрос с выражением удивления или замешательства). 2. *Kemdär bulmaj unda* 'Кого там не бывает'; *Kémdär búlmaj unda* 'Кого только там не бывает'. 3. *Jaqup ruqa jäšäjem* 'Я живу близко'; *Jáqup ruqa jäšäjem* 'Я живу совсем близко (рядом)'. 4. *Taşla!* 'Брось!'; *Táşla!* 'Брось-ка!' и др.

Итак, ударение в башкирском языке не является просодическим, ибо качество гласных в безударных слогах в зависимости от их позиции по отношению к ударному слогу не изменяется. Так, например, все гласные *ö* в следующих словах независимо от места ударения свое качество сохраняют: *jögöpöm*, *jögöpöm* — *tarmapum*; *jögöpöm*, *jögöpöm* — *tarmapum* 'ходил, ходил — не нашел' (ср. русск. *окошко* [акóшкэ]).

Тот факт, что в одном и том же слове, в одной и той же фразе ударение может свободно менять место, свидетельствует о его вспомогательном характере. В потоке речи слова и выражения свободно объединяются в одно целое: *toq alyp in* [toqäbin] 'занеси мешок'; *säyätte alyp bir*

¹ Ж. Ф. Кукбаев. Башкорт теленең фонетикаһы. Өфө, 1958, стр. 178—194.

* Здесь и дальше подпадающие под ударение гласные набраны полужирным шрифтом. (Прим. ред.).

[säyättäpir] 'подай часы'; jarty alma al [jartalmal] 'возьми половину яблока'; qur qabdaqusa [qurqabdaqusa] 'летят дикие гуси' и т. д., то есть по существу фразы произносятся как единое словосочетание. При этом любой слог может быть выделен либо очень слабым ударением (tóyäbin ~ toýäbin ~ toýäbin), либо же все слоги произносятся одинаково.

В башкирских говорах встречаются частные случаи изменения гласных последнего слога слова: jamyug ~ jamyug 'дождь', başqort ~ başqurt 'башкир', saŋyu ~ saŋya 'лыжи', aɖav ~ aɖuv 'клык', tura ~ tury 'прямо', bötön ~ böten 'целый', tormoş ~ tormuş 'жизнь' и т. д. При сильном ударении на последнем слоге этого происходить не могло.

Сказанное позволяет заключить, что в башкирском языке ударение выражено слабо, если же какой-либо слог и выделяется как ударный, то при этом изменяется, как правило, экспрессивно-эмоциональное или модальное значение слова или фразы. Полагаем, что эта особенность присуща почти всем тюркским языкам, что и явилось причиной дискуссии о природе и месте ударения в тюркских языках².

На наш взгляд, отсутствие просодического ударения оказало сильное влияние на всю систему гласных тюркских языков вообще и башкирского языка в частности.

Одним из самых значительных изменений в системе вокализма башкирского языка было сужение широких ($o > u$, $ö > ü$, $e > i$) и расширение узких гласных ($u > o$, $ü > ö$, $i > e$) в первом слоге слова. Подобная трансформация гласных наблюдается также в татарском и чувашском языках. Это изменение в сопоставлении с древнетюркским вокализмом выглядит приблизительно следующим образом:

Древнетюркский язык	Башкирский язык	Татарский язык	Чувашский язык
a	a (ä)*	a (ä)	u (a, y, e)
o	u (y)	u (y)	u (y, e, a)
ö	ü	ü	ü (o, a, e)
u	o (y)	o (y)	o (e, u, y, ü)
e	i (ä)	i	i (ü, a)
i	e	e	e (i, y, a)
y	y	y	y (e, i)

* В скобках указаны другие соответствия в убывающей последовательности.

Как видно из таблицы, наибольшее количество аллофонов древнетюркских гласных имеется в чувашском языке. Это, по-видимому, результат смешения разных языков и диалектов. А. М. Щербак, например, считает это результатом неоднократного влияния нетюркского субстрата, общетюркских тенденций и кыпчакских языков Поволжья³.

Причины передвижения гласных в башкирском, татарском и чувашском языках обычно объясняют иноязычным влиянием⁴, хотя это и не подтверждается сколько-нибудь убедительными доводами. Общеизвестно значение субстрата и суперстрата в изменении фонетического и грамматического строя языков, однако не следует переоценивать эти факты, ибо любой язык стремится сохранить свои собственные особенности и

² А. М. Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970, стр. 110—120.

³ Там же, стр. 147.

⁴ Н. К. Дмитриев. Грамматика башкирского языка. М.—Л., 1948, стр. 7; Р. Г. Ахметьянов. Сравнительное исследование татарского и чувашского языков. М., 1978, стр. 18.

только в исключительных случаях (и таких случаев не так уж много) поддается влиянию неродственных языков.

Причины изменения структуры языка необходимо искать прежде всего в самом языке, изучив при этом закономерности развития звуков в родственных языках. Процесс сужения широких гласных прослеживается еще в языке древнетюркских письменных памятников. Его можно наблюдать и в современных диалектах большинства тюркских языков.

Башкирский язык также характеризуется неустойчивостью гласных; в его говорах встречается переход любого заднерядного звука практически в любой заднерядный, переднерядного — в любой переднерядный, а если учесть наличие сингармонических вариантов, то и заднерядных — в переднерядные. Приведем несколько примеров перехода заднерядных звуков:

- и* ~ *a*: juq ~ jaq 'нет', šul ~ šal 'тот',
и ~ *o*: butqa ~ botqa 'каша', jun- ~ jon- 'тесать',
и ~ *y*: buja- ~ byja- 'красить', buətav ~ byətav 'сукно',
и ~ *ü*: up- 'проглотить, засосать', üp- 'целовать',
и ~ *i*: qarluqas ~ qarlıqas 'ласточка',
a ~ *y*: hava ~ hyva 'воздух', qaja ~ quja 'скала',
a ~ *o*: baup- ~ boup- 'подчиняться',
a ~ *ä*: sas ~ säs 'волосы', janaš ~ jänäs 'рядом',
y ~ *и*: bylaj ~ bulaj 'так', uŋaj ~ iŋaj 'лад; положительный',
y ~ *o*: buyav ~ boyav 'пути, оковы', juvat- ~ jovat- 'утешать',
y ~ *a*: ylasyn ~ alasyn 'сокол', jylyr ~ jalır 'блестящий',
y ~ *и* ~ *o*: buyma ~ bujma ~ bojma 'валенки',
y ~ *i*: sylıav ~ silıav 'портянки', suıap ~ sııap 'цыган' и др.

Подобные соответствия гласных отмечаются почти во всех работах по тюркской диалектологии.

Думается, что передвижение гласных в башкирском, татарском и чувашском языках, а также большое количество разнородных соответствий гласных, характерное для всех тюркских языков, обусловлено прежде всего слабой выраженностью в них ударения. Как известно, ряд ученых полагает, что в пратюркском языке существовало просодическое ударение, падавшее на первый слог⁵. Так, А. М. Щербак, обобщая вопрос о характере ударения в тюркских языках, высказывает предположение, что «на одном из древних этапов развития тюркских языков, когда преобладали односложные слова и в морфологическом плане господствовала изоляция, ударение являлось обязательным просодическим признаком каждого слова»⁶. Утрате просодического ударения способствовало превращение аморфной структуры слова в агглютинативную, а также и то, что смысловая нагрузка перемещалась на консонанты, обогащаемые инновациями. Все это приводило к изменению системы вокализма и прежде всего отразилось на судьбе долгих гласных, что можно наблюдать в памятниках древнетюркской письменности, а также в якутском и туркменском языках. Утрата просодического ударения слова повлияла на качество и других гласных.

Изменениям подверглись главным образом широкие гласные, что в свое время отмечалось тюркологами⁷. Об этом же свидетельствуют и следующие факты: в якутском языке широкие долгие гласные преобразовались в дифтонги (*ō* > *uo*, *ö*: > *üö*, *ē* > *ie*), а узкие долгие остались без изменений или совпали с краткими. Во многих тюркских языках на-

⁵ А. М. Щербак. Указ. раб., стр. 117.

⁶ Там же, стр. 118.

⁷ К. Ф. Кукбаев. Указ. раб., стр. 68—69; Р. Г. Ахметьянов. Указ. раб., стр. 18—19.

блюдается изменение широких гласных: в гагаузском, казахском, каракалпакском, кумыкском, ногайском языках начальный *o* дифтонгизируется, в чувашском делабиализируется или редуцируется; в гагаузском, казахском, каракалпакском, карачаево-балкарском, ногайском языках *ö* в анлаутной, а в кумыкском языке в любой позиции становится дифтонгом или дифтонгообразным звуком; начальный *e* в балкарском, гагаузском, казахском, каракалпакском, ногайском языках также дифтонгизируется и т. д.⁸

Сужение широких гласных в башкирском, татарском и чувашском языках можно рассматривать как дальнейшее развитие этого процесса, то есть $\bar{o}, o = o > uo > u; \bar{ö}, ö = \bar{ö} > \bar{ü}\bar{ö} > \bar{ü}; \bar{e}, e = e > ie > i^9$.

Возникает естественный вопрос: если утрата ярко выраженного ударения приводит к ослаблению системы вокализма, то почему же передвижение гласных наблюдается только в отдельных языках? Известно, что не только передвижение гласных, но и любой фонетический процесс не присущ в одинаковой мере всем тюркским языкам. Это, видимо, объясняется многими причинами: и относительной самостоятельностью бытования каждого языка, и иноязычным окружением, и различными экстралингвистическими факторами. Во всяком случае, даже в диалектах и говорах одного языка, где как будто имеются все условия для однозначного изменения фонемного состава, наблюдается большое количество расхождений. Региональность передвижения гласных можно объяснить, по-видимому, взаимовлиянием соседствующих родственных языков при их тесном контактировании.

В тех языках, в которых произошло полное сужение широких гласных (в башкирском, татарском, чувашском), исконные узкие гласные не могли оставаться без изменений, ибо новые и исконные гласные предельно приблизились. Вследствие этого произошло расширение узких гласных: $u > o, \bar{ü} > \bar{ö}, i > e$.

Такие преобразования в первом слове слова изменили состав гласных последующих слогов, так как гласные второго и последующих слогов в башкирском языке в исконных словах всецело зависят от гласного первого слога:

Гласные 1-го слога	Возможные гласные 2-го слога	Возможные гласные 3-го и последующих слогов
<i>a</i>	<i>a, y</i>	<i>a, y</i>
<i>o</i>	<i>o, a</i>	<i>o, a, y</i>
<i>ö</i>	<i>ö, ä</i>	<i>ö, ä, e</i>
<i>u</i>	<i>a, y</i>	<i>a, y</i>
<i>ü</i>	<i>ä, e</i>	<i>ä, e</i>
<i>e</i>	<i>e, ä</i>	<i>e, ä</i>
<i>i</i>	<i>e, ä, a</i>	<i>e, ä, a</i>
<i>y</i>	<i>y, a</i>	<i>y, a</i>

Данное явление вызвано прежде всего наличием в башкирском языке гармонии гласных по огубленности и палатальности, хотя имеются и исключения: звуки *u, ü* в первом слове не требуют гармонии по огубленности, а звук *i* — по палатальности.

Таким образом, слабая выраженность ударения в башкирском языке привела к перестройке системы вокализма, а также к многочисленным соответствиям гласных в его говорах.

⁸ А. М. Щербак. Указ. раб., стр. 148—155.

⁹ Мнение о том, что сужение широких гласных могло происходить подобным образом, высказал и Р. Г. Ахметьянов (см. Р. Г. Ахметьянов. Указ. раб., стр. 43—44), хотя он и придерживается «субстратной теории» (там же, стр. 18).

Ф. С. САФИУЛЛИНА

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ УТВЕРЖДЕНИЯ И ОТРИЦАНИЯ

(НА МАТЕРИАЛЕ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА)

Утверждение и отрицание, обнаруживающиеся в первую очередь в глагольных формах, тесно связаны с категориями модальности и предикативности в предложении. В данной статье делается попытка представить утверждение и отрицание как функционально-семантическую категорию.

Изучение морфологических категорий в контексте, определенные успехи в исследовании диалектов и живой разговорной речи позволяют рассмотреть многие языковые явления в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности. Успешно разрабатываемое в советском языкознании, учение о функционально-семантических категориях ставит своей целью характеризовать «те более широкие сферы (полей), в которые входит (как своего рода центр, ядро) грамматическая категория. Такие сферы охватывают элементы, относящиеся к разным аспектам и уровням языка, но связанные друг с другом частичной общностью семантических функций»¹. При установлении функционально-семантических связей между разнородными языковыми элементами исходным пунктом являются те или иные морфологические категории². В решении поставленной нами задачи — характеристики функционально-семантической категории утверждения и отрицания — таким исходным пунктом мы считаем положительный и отрицательный аспекты, или утвердительную и отрицательную формы глагола, играющие роль ядра или центра по отношению к остальным компонентам³. В центре или ядре той или иной функционально-семантической категории выступает конституент, «наиболее специализированный для выражения данного значения; передающий его наиболее однозначно; систематически используемый»⁴. В рассматриваемой нами категории такими конституентами являются утвердительная и отрицательная формы глагола, характеризующиеся отсутствием или наличием отрицательного глагольного аффикса *-ta*, *-mä*, *-m*: *Min bardum-min bargadum. Bulat äjtte — Bulat äjtmäde*. В татарской лингвистической литературе, кроме данных способов, приводятся в качестве средства отрицания и утверждения слова *juq* 'нет', *tügei* 'не',

¹ А. В. Бондарко. Грамматическая категория и контекст. Л., 1971, стр. 3.

² Там же, стр. 4.

³ Там же, стр. 20.

⁴ Е. В. Гульга, Е. И. Шендельс. Грамматико-лексические поля в современном немецком языке. М., 1969, стр. 10.

бар 'есть', аффиксы отрицания *-syz, -sez* или присутствия *-ly, -le*⁵. Некоторые типы утвердительных и отрицательных форм, имеющих не только в монологической, но и в диалогической речи, описаны М. З. Закиевым⁶ и Х. Р. Курбатовым⁷.

Привлечение материалов живой разговорной речи, диалогов из художественной литературы, диалектов дает полное основание констатировать, что значение утверждения и отрицания чаще всего в указанных сферах речи выражаются, кроме грамматических, контекстуальными способами, то есть «комбинацией грамматических и контекстуальных средств»⁸. Не останавливаясь на уже описанном многими языковедами традиционном выражении утверждения и отрицания, переходим к характеристике других способов.

Прежде всего необходимо оговориться, что нет резкой непроходимой грани между формами утверждения и отрицания. Одна и та же форма утверждения или отрицания в определенном контексте, ситуации, в зависимости от той или иной интонации, может выражать различные значения. Многие из рассматриваемых форм отличаются именно такой комбинацией. Далее, на значения утверждения и отрицания накладываются различные модальные оттенки: согласия, несогласия, сомнения, иронии и т. д. К указанному можно добавить и следующее: большинство приводимых ниже примеров требует определенного контекста в виде предшествующих вопросительных и повелительных предложений, или предложений, достоверность которых следует доказать, и т. д.

1. Значения утверждения и отрицания выражаются сочетанием глагольных форм с вопросительными местоимениями. При этом глагол в первой реплике повторяется:

а) с повелительным наклоением:

- Alar üzläre ber dä oçraşmyjlar idemeni?
- Nik oçraşmasynnar, oçraşalar ide (А. Гилязов)
- 'Они сами совсем не встречались?'
- Почему же не встречались, встречались?'

б) с желательным наклоением:

- Ujnama, Zöfär!
- Juq, nişläp ujnuytm di (А. Еники)
- 'Не шали, Зуфар!'
- Нет, зачем шалить?'
- Tartynmasayuz, bik äjbät bulyr ide dä...
- Nik tartynuyq? (Т. Гиззат)
- 'Если бы не отказались, было бы очень хорошо...'
- Зачем отказываться?'

в) с инфинитивом:

- ...Sin şuça uşanasuñmu?
- Nik uşanmasqa... Sin dä keşe iç (А. Еники)
- '...Ты веришь этому?'
- Почему бы не верить? Ты ведь тоже человек?'

г) с причастием:

- Joqsynnan togtayannu ällä?
- ...Togtayannqaja! (М. Амир)

⁵ М. З. Закиев. Синтаксический строй татарского языка. Казань, 1963, стр. 55—57.

⁶ Там же.

⁷ Х. Курбатов. Хәзерге татар әдәби теленең стилистик системасы. Казан, 1971, стр. 116—121.

⁸ А. В. Бондарко. Указ. раб., стр. 65.

‘— Не проснулась, что ли?

— Какое там не проснулась!..’;

д) с именем действия:

— Patšany kürdenme? — di.

— Juq, — di, — q a j a ul bezgä patšany k ü r ü!(Сказка «Волшебное колечко»).

‘— Видел царя? — спрашивает.

— Нет, — говорит, — куда уж нам увидеть царя!’

Как видно из имеющегося материала, с указанными формами и вопросительными местоимениями, часто утратившими свое первоначальное значение (то есть «десемантизированными») и нередко выполняющими роль частиц, могут употребляться и сами частицы, и такие слова, как *inde* ‘уже’, *soñ* ‘а’, *taуу* ‘еще’, *di* *букв.* ‘сказал’, *ul* *букв.* ‘он’ и т. д. Они усиливают эмоциональность высказываний и служат средствами выражения субъективной модальности.

Указанные формы утверждения и отрицания, возникнув в диалогической речи, постепенно проникают и в монологическую речь, употребляясь изолированно от предшествующего контекста. Например: *Nik ber ayaç, nik ber taş, nik ber qaqqan qazuq kürensen!* (А. Еники) ‘Было бы видно хоть одно деревце, хоть один камень, хоть один колышек, вбитый в землю!’. *Qyzum da röhtälekle jarata — öjgä mäçe kertü qaja!* (М. Магдеев) ‘И дочь любит чистоту — куда уж пускать в дом кошку!’

2. Употребленные с отрицательными формами изъявительного наклонения в настоящем и будущем временах, вопросительные местоимения выражают утверждение.

Это особенно характерно для дидактических обобщений, пословиц, поговорок: *Tişek awyz ni äjtmäs* *букв.* ‘Открытый рот чего только не скажет’. *Qyzyl tel ni şöjlämäs* ‘Чего только не скажет, красный язык’. *Almaznu kem almas* ‘Кто только не возьмет алмаз’. *Maturnu kem jaratmas* ‘Кто только не полюбит красивых’.

3. Значения утверждения и отрицания образуются присоединением к глагольным именам вопросительной частицы -ту, -те (иногда -тупи, -тепи). Эти значения возникают в определенном контексте (конситуации), при наличии других модальных частиц и определенной интонации. По форме утвердительная, эта конструкция выражает отрицание, и наоборот.

— *Ser birämme soñ?* (М. Амир) ‘— Разве выдам?’; — *Alağa baj aqçasy qyzуануçтупи* (Г. Камал) ‘— Разве им жалко байских денег’; — *Äjtimimme soñ?* (из разговорной речи) ‘— Разве не скажу?’

Значение отрицания может быть выражено повторением именного подлежащего в сказуемом с теми же частицами -тупи, -тепи. Это отрицание характеризуется категоричностью и большой экспрессией: *Bezneñ tondayu baj хатунпагунуñ kijemnäre kijemmeni ul* (Г. Камал) ‘Разве одежда — одежда здешних байских жен’.

Вопросительная частица, употребляясь с отрицательной формой 3-го лица повелительного наклонения, придает глагольной форме значение утверждения с оттенком неожиданности:

Menä tegeneñ änkäse kilep, Rawilne köjäntäse belän qujnaр алуp k i t m ä s e n t e! (И. Гази) ‘Прибежала его мать и как даст коромыслом Равило и увела его’.

4. Повторенный во второй реплике глагол-сказуемое в форме будущего времени выражает отрицание или утверждение:

— *Sinnän şürläp utyram, änkäse.*

— Şürläterseŋ sine (X. Вахит)

‘— Побавваюсь тебя, матушка.

— Заставишь тебя бояться’.

— Barıym, barıym.

— Barıtasıyŋ sin (из разговорной речи)

‘— Не пойду, не пойду.

— Не пойдешь уж!’

5. В выражении значений утверждения и отрицания большую роль играют частица *ni* *букв.* ‘что’, частичное слово *di* *букв.* ‘сказать’, присоединяемые к различным глагольным формам как к личным, так и неличным глаголам. Такие предложения большей частью имеют контекстуальную обусловленность: *Leksijägä kitäbez, jänäse. Kittek, kitmin il* (М. Мардеев) ‘Будто идем на лекцию. Пошли, как бы не так!’

— Tübän oç Yalimärdänne beläseŋder bit inde?

— Belmäskä ni (Г. Насыри)

‘— Знаешь ведь Галимардана с той улицы?

— Как не знать...’

— Bulmas.

— Bulmas di (Г. Камал)

‘— Не может быть.

— Будто уж не может быть!’

6. Значения утверждения могут быть выражены отрицательными формами деепричастия на -ıg, -eg, -g и инфинитива:

— Borçıylasızmy?

— Borçılmıjçam... (Ю. Аминев)

‘— Беспокойтесь?

— Как не беспокоиться...’

— Kürdeŋ, äjje? — Kügmäskä! (из разговорной речи).

‘— Видел, да? — Как не видеть!’

7. Присоединяясь к глаголу в 3-м лице единственного числа повелительного наклонения, частица *-çu*, *-çe* выражает значение сильного отрицания: *...a täräsädän içmasam ber genä keşe başy kürensence!* (Ф. Хусни). ‘— ...но хоть бы кто-нибудь был виден за окном!’

8. Значение отрицания выражается соединением глагола в прошедшем категоричном времени (чаще в 3-м лице единственного числа) и слова *juq*: *Alajsı sinnän qaldy juq* (К. Тинчурин) ‘Если так, не отстану от тебя’. *Ozaq tordym juq, bik tiz çuıam* (МТД III, 20) ‘Не задержусь долго, скоро выйду’. Некоторые диалектологи считают данную форму диалектной особенностью. Л. Т. Махмутова относит ее к особенностям мишарского диалекта со значением «будущее категорическое время в отрицательном аспекте»⁹. По мнению Н. Б. Бургановой, эта форма характерна для заказанских говоров¹⁰. Нам представляется, что данную форму отрицания, имеющуюся и в других диалектах и говорах татарского языка, целесообразнее было бы отнести к синтаксическим особенностям разговорной речи, обусловленным ее эмоционально-экспрессивным характером.

Слово *juq* ‘нет’, сочетаясь с глаголами в форме имени действия, инфинитива и причастия прошедшего времени, выражает значение отрицания: *Anajdan soraw juq, eneläte belän kiñäşü juq* (Г. Ибрагимов)

⁹ Л. Т. Махмутова. Формы прошедшего времени в мишарском диалекте татарского языка. — «Советская тюркология», 1976, № 3, стр. 19.

¹⁰ Н. Б. Бурганова. О временных формах глаголов изъявительного наклонения в заказанских говорах. — «Материалы по татарской диалектологии» (далее — МТД), III кн. Казань, 1974, стр. 20.

‘Не спросил у матери, не советовался с братьями’. *Mal asgarğa juq häzer* (из разговорной речи) ‘Теперь не заведешь скот’. *Ajtergä juq inde* (из разговорной речи) ‘Не сказать даже’. *Belgän juq inde any* ‘Не знаю даже’.

9. Широко распространено в языке выражение утверждения в виде двойного отрицания, имеющее различные формы: *Qartlar sizmäde tügel...* (Г. Ибрагимов) ‘Старики не то, чтоб не заметили...’ *Ul zamanda da eşsez tormadyq* (А. Еники) ‘И в те времена без работы не сидели’. *Min äjtmäs idem žitdi qaramyj dip. Şaqtyj žitdiqaryj* (из разговорной речи) ‘Я бы не сказал, что он несерьезно относится. Довольно серьезно относится’. *Jsär juq tügel...* (М. Хабибуллин) ‘Не то, чтоб не рассчитывал...’.

10. Следующие формы присущи только живой разговорной речи и в отдельных случаях отличаются оттенком просторечия:

а) значения утверждения и отрицания выражаются добавлением частичных слов *siŋa* ‘тебе’, *bar* ‘иди’, *ruŋaŋum* *букв.* ‘нож мой’, *tot qar-ŋuŋuŋu* ‘держи свой мешок’ и т. д.

— *Kürdem.*

— *Kürdeŋ ruŋaŋ!* (Г. Камал)

‘— Видел.

— Видел уж!’

— ... *Bar am men ä!* *Min anyŋ närsäsenä quzyŋur barıjm* (Г. Камал)

‘— Пойду тебе. Из-за чего я пойду’.

— *Tege nijen, maŋinasyn da alyp kitkänme?*

— *He, qaldyrgyr siŋa, bar!* *Andyj žebegängä bigräk tä!* (Г. Баширов)

‘— Ты самую, машину тоже увез?’

— *Ha, ostavit тебе, иди! Особенно такому раззяве!*;

б) отдельные глаголы в форме *bulmaŋuŋu*, *jazmaŋuŋu* и т. д. выражают отрицание:

— *Min kitäm inde.*

— *Jazmaŋuŋu* (из разговорной речи)

‘— Я уже ухожу.

— Уйдешь уж (*букв.* ‘Не суждено’)’

— *Belde di ruŋaŋum, tatarčasyn jünlär söjläşä almaŋuŋu!* (А. Гилязов)

‘— Знает уж, по-татарски толком не умеет говорить!’;

в) утверждение имеет описательные и градационные типы, свидетельствующие о том, что наряду с экономней средств выражения в языке часто употребительны и избыточные построения:

— *Buldımy?*

— *Bulŋandada nindi genä buldyäle!* (К. Тинчурин)

‘— Получилось?’

— *Еще как получилось!;*

г) основу отрицательной конструкции составляет сочетание инфинитива со словом *dimägän*, имеющее значение недозволенности:

— *Şynlap ta, änkäj, siŋa gel mine saqlap jatarğa dimägän bit inde, qajt qızlar belän* (Ф. Яруллин) ‘— И в самом деле, мама, нельзя же постоянно сторожить меня, возвращайся с девушками’;

д) имеет в своем составе аффикс отрицания *-ta*, *-tä* и представляет собой архаичную глагольную форму желательного наклонения (которая в современном татарском языке вообще не употребляется в положительном аспекте), выражающую значение утверждения с оттенком возможности какого-нибудь процесса в будущем:

— Üzeñ ul tujda bi jer jör m ä q ä j e ñ ä le (X. Вахит) ‘— Как бы сам не плясал на этой свадьбе’. — Ul bik juqaq, — didem. — Bul ma ya ju, — dide qyz (Г. Губай) ‘— Он очень далеко, — сказал я. — Пусть (будет)... — сказала девочка’.

11. Своеобразным средством отрицания является частица, десемантизированная от вопросительного местоимения *ni* ‘что’. Употребленные перед именными частями речи, такие частицы образуют эллиптические построения: *Dus maqtasa ni fajda, doşman jamanlasa ni zujan* (поговорка) ‘Друг похвалит — какая польза, враг поругает — какая беда’. После именных частей речи в функции сказуемого они также выражают отрицание: *Jalañqaşqa jañjuñ ni* (поговорка) ‘Что голому дождь’. К данным конструкциям близки построения типа *niña ni (närsä)* ‘мне что’: *Sin kem näselennän, atañ-anañ kem dip soğuj ikän, Darıfulla ya ni, ätkän dä birgän* (М. Хабибуллин) ‘Спрашивает, из какой семьи, кто родители, что Дарифулле, он взял да сказал’.

12. Только контекст и интонация позволяют установить в следующих предложениях отрицание:

— *Äjdä, kittek.*

— *Bik, şunuñ belän genä ruçranıp jörisem qalğan* (Т. Гиззат)

‘— Айда, пошли.

— Точно, только с этим мне надо было связаться’.

— *Krest’jan jañjuñdan quğusa! — dip qujdy berničäse* (Г. Тулумбайский) ‘— Испугается ли крестьянин дождя! — сказали несколько человек’.

— *Aq aqça biregez, aq!*

— *Äj, aq aqça az!* (МТД, III, 208)

‘— Белые монеты дайте, белые!

— Ай, мало белых денег’.

13. Только интонация, мелодика речи позволяет различать утвердительное и отрицательное значение следующих выражений:

— *Quğasun sin annan!*

— *Quğa -a-a-m!* (или — *Quğam*)

‘— Ты боишься его!

— Бою-ю-сь!’

14. Значения утверждения и отрицания выражаются некоторыми паралингвистическими средствами — мимикой, жестом. На вопрос *Bagasunmu?* можно кивком головы ответить и утвердительно, и отрицательно. Движением рук также можно выразить эти значения.

15. Кроме вышеописанных средств утверждения и отрицания, общих как для носителей татарского литературного языка, так и его диалектов и говоров, отмечены и чисто диалектные способы выражения утверждения и отрицания:

а) глагольная форма на *-aşaq, -äçäk* + частица *tügel*:

Bu jañjuğ ozaq za wa ş a q tügel ‘Этот дождь недолго будет идти’.

Min alarğa ajaq atla ş a q tügel ‘Я к ним и ногой не ступлю’ (МТД, III, 14—15).

Min bu çäjne e ş ä ç ä k tügel ‘Этот чай я не буду пить’ (МТД, III, 65—68);

б) своеобразной формой отличается нукратовский говор:

Begen magazin a ş u q bulma dägel ‘Сегодня магазин не откроется’.

Mäktäp direktory julyşqa kilmä dägel 'Директор школы не придет на собрание'¹¹;

в) глагольная форма на -asy, -äse + tügel:

Sez beregez däminem kilen bulasy tügel 'Ни одна из вас не будет моей снохой' (МТД, III, 16—17).

Qunaq barda anda kerеп jörise tügel 'При гостях туда не следует заходить' (МТД, III, 68);

г) глагольная форма на -maly, -mäle + tügel:

Suqmaly tügel didem iç min sija 'Сказал же я тебе, что невозможно выйти' (МТД, III, 68);

д) причастие на -уап + juq:

Min Qazanğa eç jyl baгуап juq 'Три года, как я не ездил в Казань' (МТД, I, 1962, 110);

е) инфинитив + juq:

— Kit ärga juq, bylytlar jeri '— Невозможно уйти, много туч' (МТД, I, 1962, 150—151);

ж) спрягаемая глагольная форма + juq (joq):

Kilir joq 'Он не придет'¹². Aşny sajlap jögi joq, aşuj 'Не выбирает пищу, ест' Könel kötörelер joq 'Настроение не поднимается'¹³.

Сказанное подытожено в таблице (см. стр. 66) отдельных конструкций со значением утверждения и отрицания. Инвариантами всех значений являются формы күрдем и күрмәдем.

Из таблицы ясно видно, что не все конструкции допускают их параллельное употребление в утвердительной или отрицательной форме. Одни из них используются только для передачи отрицательной формы, другие — только положительной.

В таблице отражены формы утверждения и отрицания, соотносимые в основном с прошедшим временем, хотя большинство из них может быть отнесено и к настоящему, и к будущему времени. Формы отрицания, соотносимые с будущим временем, мало употребительны и характерны в основном для отдельных говоров татарского языка, что уже выше отмечалось.

Все изложенное позволяет сделать следующие выводы.

Наличие семантического инварианта при всех вариантах (то есть частичной общности семантических функций взаимодействующих языковых элементов¹⁴) позволяет определить утверждение и отрицание как функционально-семантическую категорию (см. схему на стр. 66).

Функционально-семантическое поле утверждения и отрицания образуется взаимодействием разнородных (относящихся к разным сторонам и уровням языка) элементов, обладающих при всех различиях общими инвариантными семантическими признаками утверждения и отрицания. Ядром исследуемой функционально-семантической категории является наличие или отсутствие аффикса отрицания *-ta*, *-mä*, *-m*. На лексическом и синтаксическом уровнях значения утверждения и отрицания выражаются словами баг 'есть, имеется', juq 'нет', tügel 'не', на сло-

¹¹ Л. Жәләй. Татар теленең урта диалекты буенча монография. Докт. дисс. I кн. Казан, 1952, стр. 470.

¹² Л. В. Дмитриева. Язык татар Западной Сибири (барабинцев и тобольских татар). Канд. дисс., Л., 1951, стр. 203.

¹³ Д. Г. Тумашева. Диалекты сибирских татар в отношении к татарскому и другим тюркским языкам. Докт. дисс. Казань, 1968, стр. 644.

¹⁴ А. В. Бондарко. Указ. раб., стр. 8.

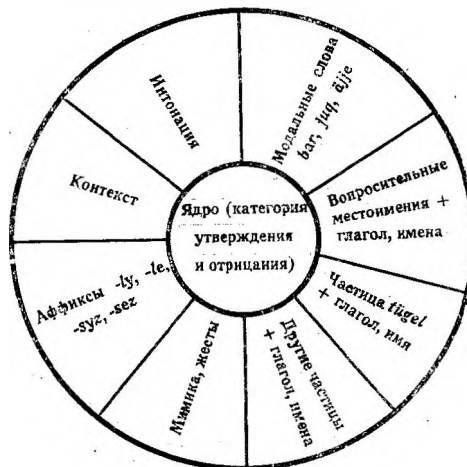
Таблица

Отдельные конструкции со значением утверждения и отрицания

Kürdem	'Видел'	Kürmädem	'Не видел'
Kürmäskä (ni)!	'— Как не видеть!'	Küregä (ni)!	'— Не видел!'
Kürmiçä (ni)!	'— Как не видеть!'	—	—
Kürmägän qaja!	'— Куда уж не видеть!'	Kürgän qaja	'— Куда уж видеть!'
Kürü qaja!	'— Куда уж видеть!'	Kürmäw qaja!	'— Как видеть!'
Nik kürmäskä!	'— Почему не видеть?'	—	—
Nindi kürmäw!	'— Какое там не видеть!'	Nindi kürü!	'— Какое там видеть!'
Niñläp kürmäskä!	'— Почему не видеть?'	—	—
Nindi kürmägän!	'— Какое не видеть!'	Nindi kürgän!	'— Какое там видеть!'
Qaja (ul) kürmäw!	'— Как не видеть!'	Qaja (ul) kürü!	'— Какое там видеть!'
—	—	Qaja (ul)!	'— Какое там!'
Kürmäde di!	'— Будто уж не видел!'	Kürde di!	'— Будто уж видел!'
Kürmäş inde!	'— Видел уж!'	Kürer inde!	'— Не видел!'
Kürmini (kürdem)!	'— Какое не видел (видел)'	—	—
Kürmädem siña!	'— Не видел тебе!'	Kürdem siña!	'— Видел тебе!'
Kürmägän siña!	'— Видел!'	Kürgän siña!	'— Не видел!'
—	—	Kürdem, bar!	'— Не видел!'
—	—	Kürdem, ruçaq!	'— Шин, видел!'
Kürmädem tügel	'— Не то, чтоб не видел	—	—
(kürdem)!	(видел).	—	—
Niçek kenä kürdem-äle!	'— Еще как видел!'	Juq (kürmädem)	'— Нет (не видел)'
Äje (kürdem)!	'— Да (видел)'	Покачивание голо-	(не видел)
Кивок головой	(видел)	вой из стороны в	
вниз		сторону	

Схема

Функционально-семантическое поле утверждения и отрицания



В центре — ядро функционально-семантической категории. По окружности расположены периферийные средства выражения утверждения и отрицания.

вообразовательном и синтаксическом уровнях — противопоставлением аффиксов *-ly, -le* (аффикс присутствия) и *-syz, -sez* (аффикс отсутствия). На уровне паралингвистики утверждение и отрицание выражается определенными жестами (кивок головой, покачивание головой, движение руками и т. д.).

Для определения значений и утверждения, и отрицания существенную роль играет контекст и конситуация. Это, в первую очередь, относится к разговорной, в особенности диалогической речи, в которой утверждение и отрицание обусловлены обязательным наличием предшествующего предложения, глагол-сказуемое которого в той или иной личной или неличной форме повторяется в значении утверждения или отрицания. При таком комбинированном употреблении грамматических и контекстуальных средств выражения семантических функций утверждения и отрицания «грамматическая форма сама по себе данной функции не выражает. Ее носителем способен быть лишь комплекс, состоящий из грамматической формы и определенных элементов контекста. Роль контекста здесь не ограничивается уточнением и конкретизацией того, что выражено грамматической формой. Контекст оказывается равноправным, а в ряде случаев и определяющим компонентом семантического комплекса»¹⁵.

Значения утверждения и отрицания создаются переносным употреблением многочисленных глагольных форм как личных, так и неличных.

Необходимым, даже обязательным, компонентом при выражении исследуемых значений является интонация, всегда модально и эмоционально окрашенная.

Различные оттенки утверждения и отрицания возникают благодаря употреблению многочисленных частиц и частичных слов, способствующих также различному интонированию исследуемых конструкций.

Значения утверждения и отрицания находятся в сложном взаимодействии с формами глагольных времен, являющимися основными выразителями модальности и предикативности. Здесь происходит пересечение разных полей модальности, предикативности, аспектуальности и т. д.

Привлечение материалов живой разговорной и диалогической речи позволило выявить множество новых, не зафиксированных еще форм выражения значений утверждения и отрицания.

В свете изложенного становится малоубедительной точка зрения отдельных исследователей, отрицающая теоретическое и практическое значение деления предложений на утвердительные и отрицательные.

¹⁵ А. В. Бондарко. Указ. раб., стр. 66.

Л. Ш. АРСЛАНОВ

РОЛЬ ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ ТАТАРСКИХ ГОВОРОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ, АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В Волгоградской, Астраханской областях и Ставропольском крае находятся небольшие татарские селения, основанные в начале и во второй половине XVIII века переселенцами из центральной России¹. В татарских селениях распространены говоры, представляющие в лингвистическом отношении большой интерес. Эти говоры относятся в основном к двум диалектам татарского языка: мишарскому (западному) и среднему.

В отличие от уже сложившихся говоров, бытующих на территории основного ареала татарского языка, эти говоры можно считать вторично образованными² или островными. Последние содержат ценный материал для изучения процесса взаимодействия и формирования говоров различных диалектных основ. Особенно любопытно, что процесс языкового взаимодействия в этих говорах все еще продолжается. Это имеет место, например, в селе Куликовы Копани Туркменского района Ставропольского края, где на базе говоров двух диалектных основ — среднего и мишарского — идет образование единого говора. Изучение говоров татар Волгоградской, Астраханской областей и Ставропольского края может содействовать решению некоторых вопросов исторической диалектологии татарского языка. Так, например, говор села Курченко Наримановского района Астраханской области позволяет составить представление о степени изменения первичного говора на новой территории позднего заселения. В живом говоре этого села ярко проявляются черты среднего диалекта, что подтверждается историческими и архивными материалами. Носители говора переселились сюда в основном из Мамадышского, Малмыжского, Тетюшского уездов Казанской губернии. Таким образом, среди них были носители различных говоров среднего диалекта. Данный говор, если не считать особенностей, обусловленных влиянием языка юртовских татар (ногайцев), близок к литературному языку. По-видимому, первичные черты говоров, как пра-

¹ Об истории возникновения татарских сел в указанном регионе см.: Л. Арсланов. О влиянии ногайского языка на татарские говоры Ставропольского края. — «Советская тюркология», 1972, № 5, стр. 25—31; *его же*. Из материалов диалектологической экспедиции 1968 года в Волгоградскую и Астраханскую области. — «Материалы по татарской диалектологии». Казань, 1974, стр. 136—144; *его же*. Әстерхан өлкәсендәге татар авыллары тарихына карата. — «Источниковедение и история тюркских языков». Казань, 1978, стр. 115—123.

² См.: Л. И. Баранникова. Говоры территории позднего заселения и проблема их классификации. — «Вопросы языкознания», 1975, № 2, стр. 23.

вило, резко отличающихся от литературного языка, в процессе взаимодействия нивелируются, и в них начинают преобладать черты, близкие и понятные носителям всех говоров, участвовавших в формировании данного говора.

Говоры Волгоградской, Астраханской областей и Ставропольского края формировались (а некоторые еще продолжают формироваться) на базе мишарского и среднего диалектов. В то же время некоторые говоры, в частности говор села Зензели Лиманского района Астраханской области, и говор так называемых «каракалпаков»-татар Волгоградской области образовались в результате частичного смешения в начале XVIII века носителей среднего диалекта с носителями языка юртовских татар (зензелинский говор) и казахского языка («каракалпаки»-татары Палласовского района Волгоградской области). Хотя вторичные говоры и вытеснили первоначальные, однако по языковым признакам нередко бывает возможно установить в общих чертах особенности последних. Примечательно, что в большинстве случаев языковые данные подтверждаются архивными и фольклорными материалами. Так, говоры Волгоградской области, в частности маляевский говор, по языковым особенностям близки к современным татарским говорам, распространенным на территории Пензенской области. Носители указанных говоров действительно переселились на данную территорию из различных селений Пензенской области. Говор же села Лятошинка Старополтавского района Волгоградской области формировали в основном выходцы из нынешней Ульяновской области, сохранившие в своем языке основные черты «материнского» говора, чему способствовали их территориальная изолированность и отсутствие языковых контактов с носителями других говоров Волгоградской области.

Интересен говор села Каменный Яр Черноярского района Астраханской области. Носители его не знают, откуда переселились их предки на современную территорию. В структурном плане этот говор представляет собой единое целое (отсутствуют дублетные варианты фонетического, морфологического и лексического характера), и сложился он, по-видимому, на базе какого-то одного говора. Судя по языковым признакам, носители говора переселились на данную территорию из бывшего Буинского уезда Симбирской губернии. Мишарские же черты этого говора приобрел, на наш взгляд, на прежней территории обитания его носителей.

По характеру диалектной основы можно выделить на изучаемой территории говоры с монодиалектной и бидиалектной основами. К особому типу относятся говоры, образованные на базе двух диалектных основ различных близкородственных языков (например, говор села Зензели Лиманского района Астраханской области).

К говорам с монодиалектной основой следует отнести говоры сел Маляевка, Бахтияровка, Царев Ленинского района и Лятошинка Старополтавского района Волгоградской области и говоры сел Каменный Яр Черноярского, Линейное, Курченко, Янго-Аскер Наримановского районов Астраханской области. В этих говорах в основном сохранились особенности говоров, от которых они отделились. Однако в условиях этнической и культурной изоляции носителей этих говоров от основной массы носителей прежнего «материнского» говора, а также контактов с носителями других говоров и языков (юртовские татары, казахи), некоторые древние или первичные особенности ими были утрачены и приобретены новые.

К говорам с бидиалектной основой можно отнести татарские говоры Ставропольского края, Малых Чапурников Светлоярского района и отчасти говор упоминавшихся «каракалпаков»-татар Палласовского райо-

на Волгоградской области, сформировавшийся, по-видимому, на базе языка носителей среднего и частично мишарского диалектов, хотя в основу говора лег, несомненно, говор среднего диалекта. В этих говорах произошло смешение языковых черт двух диалектных систем: в отдельных случаях диалектные особенности двух диалектов сосуществуют. Правда, они отличаются по степени активности их употребления в речи носителей тех или иных говоров. В таких говорах преобладают главным образом мишарские черты. Лишь в говоре села Малые Чапурники одновременно сохранились ярко выраженные, часто диаметрально противоположные черты говоров среднего и мишарского диалектов. Однако можно утверждать, что мишарский говор оказывает более сильное влияние на говор среднего диалекта.

Что касается говоров сел Каменный Яр Черноярского и Линейное Наримановского районов Астраханской области, то формирование их завершилось, по всей вероятности, уже на прежней территории их распространения, то есть на территории современной Татарской АССР. Эти говоры сохраняют, наряду с особенностями среднего диалекта, черты мишарского, проникшие в них еще на прежней территории их функционирования, то есть примерно на Правобережье Волги. Татарским говорам этого региона присущи мишарские черты в области фонетики, морфологии и лексики.

Разумеется, некоторые из этих говоров можно считать монодиалектными лишь условно, ибо в настоящее время формирование говоров и их становление происходят в условиях интенсивных междиалектных и межъязыковых контактов. Так, например, если формирование говоров сел Малый Барханчак Ипатовского и Камыш Бурун Нефтекумского районов Ставропольского края, Линейное Наримановского района Астраханской области на основе междиалектных контактов завершилось, то в селениях Малые Чапурники Светлоярского района Волгоградской области и Куликовы Копани Туркменского района Ставропольского края этот процесс еще продолжается. Продолжительность процесса формирования говоров на базе двух диалектных основ зависит от ряда внутрилингвистических и экстралингвистических факторов. Первичные основы указанных говоров относятся к различным диалектным системам: средней и мишарской. В большинстве случаев в говорах подобного типа преобладают мишарские черты, как, например, в говоре селений Малый Барханчак и Камыш Бурун Ставропольского края. В отдельных случаях сохраняются или превалируют черты среднего диалекта, как, например, в говоре села Курченко Наримановского района Астраханской области. Язык носителей мишарского диалекта, переселившихся в это село из Пензенской области, уже подвергся влиянию среднего диалекта и во многом утратил свои мишарские черты.

Однако определение отношений между различными говорами при сосуществовании их на территории одного населенного пункта затруднительно в связи с необходимостью учета ряда внутрилингвистических и экстралингвистических факторов.

При изучении формирования татарских говоров на указанной территории важно иметь в виду возможное влияние на них в различные периоды их развития татарского литературного языка. Влияние это шло, по-видимому, двумя путями: а) через школьное обучение и б) через общение с носителями литературного языка. Носители татарских говоров Астраханской области имели, например, сравнительно большую возможность общаться с городскими жителями, в той или иной степени владеющими литературным татарским языком. Немалую роль в этом

процессе играет и доступность различных учреждений культуры: театров, кино и т. д. Следовательно, влияние татарского литературного языка на говоры этих селений было сильнее, нежели на говоры селений Волгоградской области и Ставропольского края, расположенных сравнительно далеко от городских центров.

Большое значение при наличии указанных выше факторов имеет также собственная близость того или иного говора к татарскому литературному языку. Известно, например, что фонетически и лексически говоры среднего диалекта достаточно близки к литературному языку, поэтому взаимодействуя с последним, они становятся к нему еще ближе.

На формирование татарских говоров Волгоградской, Астраханской областей и Ставропольского края существенное влияние оказывали и продолжают оказывать нижеследующие экстралингвистические факторы.

Период переселения носителей говоров. Данный фактор говорит о продолжительности функционирования говора на новой территории, позволяет установить степень сохранения или утраты им своих прежних черт. Выяснение времени переселения носителей говоров на новую территорию способствует определению устойчивости отдельных языковых явлений в данном ареале. Так, например, в татарских говорах Волгоградской области архаических особенностей, то есть черт прежнего «материнского» говора, сохранилось больше, чем в говоре села Янго-Аскер Наримановского района Астраханской области. При сосуществовании двух говоров с разной диалектной основой в одном населенном пункте менее устойчивыми оказываются глубокозаднеязычные γ , q , x среднего диалекта, что зафиксировано, в частности в говоре сел Малые Чапурники Светлоярского района Волгоградской области и Малый Барханчак Ипатовского района Ставропольского края, хотя в отдельных говорах употребление заднеязычных k , g , x мишарского диалекта является результатом прежних контактов. Подобное явление характерно для говоров среднего диалекта сел Каменный Яр Черноярского и Линейное Наримановского районов Астраханской области.

Устойчивыми являются и аффрикаты \check{s} и \check{z} .

Из морфологических особенностей менее устойчивыми оказались глагольные формы, выражающие намерение, пожелание (*барырга теллим* 'хочу идти', *бармагчы булам* 'думаю идти, намереваюсь идти'). В татарских говорах Астраханской области и Ставропольского края получила распространение ногайская форма на *-aqaq, -äjäk, -ašaq, -äšäk, -ašaq, -äšäk*, выражающая различные временные и модальные значения. Активизации этой формы способствовало, по-видимому, кроме интенсивных контактов, также наличие различных глагольных форм в разнодиалектных говорах, имеющих близкие значения и функции. Вытеснение татарских форм обусловлено, очевидно, универсальностью ногайской конструкции: она более мобильна и участвует в образовании временных и модальных форм, причастий и т. д. Определенное значение имело, несомненно, наличие формы на *-ašaq, -äšäk* в татарском литературном языке.

Не менее важным должен быть признан и количественный фактор. Как показывают собранные нами статистические материалы, в большинстве селений изучаемого региона численно преобладают носители мишарского диалекта, и поэтому в их говорах также преобладают мишарские черты, с учетом того, что мишарский диалект испытал влияние среднего диалекта фонетически и лексически более близкого к литературному языку. Подобный процесс наблюдается, например, в говоре села Малый Барханчак Ипатовского района Ставропольского края и в

говоре сел Янго-Аскер Наримановского района Астраханской области и Малые Чапурники Светлоярского района Волгоградской области. Явление противоположного характера отмечается в говорах села Курченко Наримановского района Астраханской области и в говоре «каракалпаков»-татар Палласовского района Волгоградской области: здесь численное превосходство носителей среднего диалекта привело к утрате говором многих мишарских черт.

Характер переселения (одновременность и разновременность, массовость, единичность, вольное или принудительное переселение и т. д.). Этот фактор в различных говорах изучаемого региона проявится по-разному. Он сыграл, очевидно, определенную роль в сроках окончательного формирования говоров. Говор села Каменный Яр Черноярского района Астраханской области сложился у татар, переселившихся сюда из бывшего Тетюшского уезда Казанской и Буинского уезда Симбирской губерний. Причем переселение было массовым, и поэтому говор этого села не имеет особых отклонений от общих норм традиционного (буинско-тарханского) говора. Аналогичный путь формирования прошли говоры сел Курченко Наримановского района Астраханской области, Маляевка, Царев, Бахтияровка Ленинского и Лятошинка Старополтавского районов Волгоградской области.

Переселение татар в деревни Малый Барханчак Ипатовского, Куликовы Копани Туркменского и Камыш Бурун Нефтекумского районов Ставропольского края происходило разновременно и небольшими группами, что сказалось на формировании данных говоров. Это подтверждается наличием в них параллельных явлений, дублетных форм фонетического, морфологического и лексического характера, причем одни формы более употребительны, другие — менее, а третьи — встречаются спорадически.

Исследуя говоры сел Куликовы Копани, Камыш Бурун Ставропольского края и Зензели Лиманского района Астраханской области, можно наблюдать живой процесс их формирования и становления. Особенно ярко проявляется этот процесс в говоре села Куликовы Копани Туркменского района Ставропольского края, где параллельно бытуют два говора: бастанский говор среднего диалекта и говор мишарского диалекта. По нашим наблюдениям, в этих говорах происходит взаимное проникновение языковых черт обеих диалектных систем. Носители бастанского говора, например, усваивают мишарские черты, что особенно заметно в речи молодежи. Это объясняется тем, что бастанцы из Сасовского района Рязанской области прибывали небольшими группами, а за последнее время переселенцы-мишари по численности превзошли бастанцев, поэтому ряд черт фонетического характера, например, дифтонгонды, и ряд морфологических особенностей в бастанском говоре исчез. Правда, часть традиционных языковых черт носителями бастанского говора все еще сохраняется. К ним можно отнести сохранение глубокозаднеязычных *k*, *ɣ*, *x*, инфинитив на *-тауа*, *-tägä*, местоимения *тауа* 'мне', *сауа* 'тебе' и др. Следует отметить, что люди пожилого возраста, главным образом женщины, прочно сохраняют традиционные нормы бастанского говора.

Интересное языковое явление можно наблюдать в говоре села Камыш Бурун Нефтекумского района Ставропольского края. Первыми поселенцами здесь были носители среднего диалекта. Однако в течение двух последних столетий население села значительно увеличилось за счет переселенцев-мишарей из Саратовской и Пензенской областей. В результате фонетическая система говора полностью приобрела особен-

ности мишарского диалекта, хотя иногда в речи отдельных лиц дают о себе знать и черты среднего диалекта.

При изучении истории формирования татарских говоров данного региона необходимо учитывать и причины переселения. По рассказам местного населения и данным исторических документов, население Малого Барханчака стало расти за счет беженцев-мишарей из различных губерний России: Симбирской, Саратовской, Пензенской. Этот фактор может объяснить причины того, что некоторые формы и дублетные варианты встречаются нерегулярно.

При объяснении отдельных языковых явлений, свойственных татарским говорам исследуемого региона, нельзя не учитывать характера отношений их носителей с соседними народностями. Переселенцы-татары, прибывая на новое место, вступали в различные социально-экономические отношения с местным населением. От характера этих отношений во многом зависело формирование татарских говоров на изучаемой территории. Приведем некоторые факты взаимодействия носителей интересующих нас говоров с другими народами.

В селе Каменный Яр Черноярского района Астраханской области вместе с татарами проживает и русское население, поэтому говор этого села испытал и продолжает испытывать определенное влияние русского языка, главным образом на лексику.

«Каракалпаки»-татары Палласовского района Волгоградской области, находясь в течение почти двух веков в контакте с казаками, вступали с ними в социально-экономические и другие отношения, и поэтому их говор испытал влияние казахского языка, особенно в области морфологии и лексики.

В говоре села Камыш Бурун, в результате контактов его носителей с ногайцами, появились некоторые особенности, характерные для ногайского языка.

Что касается говоров сел Курченко, Линейное, Янго-Аскер, Туркменка Наримановского района, то они подверглись языковому влиянию соседних с ними юртовских татар (ногайцев). Влияние это распространилось прежде всего на область лексики и морфологии.

В формировании татарских говоров Наримановского района Астраханской области важную роль сыграл такой экстралингвистический фактор, как изменение социально-экономических условий жизни. Известно, что, переселясь на новое место, поволжские татары переняли у юртовских татар способы выращивания бахчевых культур, а одновременно и связанную с этим терминологию.

К экстралингвистическим следует отнести и фактор географический (естественные преграды, близость или отдаленность от городов и т. д.). В дореволюционный период связи между носителями различных татарских говоров были менее интенсивными, чем в настоящее время. Поэтому говор села Лятошинка Старополтавского района Волгоградской области, например, развивался в изоляции от других татарских говоров, что обусловило сохранение в нем характерных для него черт.

В качестве экстралингвистического фактора следует рассматривать и влияние татарского литературного языка на определенные говоры в различные периоды их формирования. В связи с тем, что исследуемые нами говоры находятся как бы в островном положении, влияние литературного языка на них в настоящее время минимально, чему способствует и то, что в указанных выше регионах обучение в школе ведется на русском языке.

Несмотря на то, что формирование татарских говоров на территории Волгоградской, Астраханской областей и Ставропольского края в

основном завершилось, в некоторых селах этот процесс еще продолжается, в частности там, где параллельно бытуют два говора с разноречивой основой или взаимодействуют диалекты (говоры) различных языков как родственных, так и неродственных.

В формировании татарских говоров на исследуемой территории параллельно с экстралингвистическими действовали и внутрилингвистические факторы, часто взаимно дополняя друг друга. Как показывают наши наблюдения, в формировании говоров решающее значение все же имеют факторы экстралингвистические, являясь как бы побудительной причиной, приводящей в действие внутрилингвистические факторы.

Все вышерассмотренные говоры испытывали, естественно, и иноязычное влияние: ногайского и туркменского языков (говоры Ставрополья), языка юртовских и алабугатских татар (говоры Наримановского и Лиманского районов Астраханской области), калмыцкого (говор села Зензели Лиманского района Астраханской области), казахского (говор «каракалпаков»-татар) и русского языков.

Татарские говоры, распространенные на исследуемой территории, в зависимости от ряда экстралингвистических и внутрилингвистических причин, находятся в различной степени близости к «материнскому» говору. Особенности традиционного говора сохранили жители села Лятошинка Старополтавского района Волгоградской области, сел Курченко, Линейное Наримановского и Каменный Яр Черныярского районов Астраханской области. Носителями говоров среднего диалекта Ставропольского края, под влиянием носителей мишарского диалекта татарского языка, утрачены многие первичные признаки их говоров.

Таким образом, в формировании татарских говоров Волгоградской, Астраханской областей и Ставропольского края важную роль сыграли как экстралингвистические, так и внутрилингвистические факторы. При этом приоритет, как показали наши исследования, принадлежит экстралингвистическим факторам, часто влияющим на изменение внутриструктурных особенностей отдельных говоров. Исследование этого процесса должно помочь определить в общих чертах устойчивость или неустойчивость тех или иных явлений фонетического, морфологического и лексического характера, выявить общую тенденцию развития отдельных говоров диалектов татарского языка.

Р. А. ТУРАБАЕВА

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАГМАТИЧЕСКОГО АСПЕКТА ПЕРЕВОДА С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА УЗБЕКСКИЙ

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОСТОЙ РЕЧЕВОЙ МЕТАФОРЫ)

Известно, что перевод — это воспроизведение того или иного текста на другом языке при сохранении инварианта его содержания, представляющего собой онтологическое единство информативно-интеллектуального, стилистического и прагматического компонентов. О важности сохранения инварианта перевода свидетельствует появление в последнее время специального термина «инвариантность» перевода, пришедшего на смену общепринятого термина «равноценность», в связи с тем, что первый точнее отражает необходимость передачи всей глубины содержания оригинала (9, 47).

Под информативно-интеллектуальным содержанием текста имеется в виду информативно-смысловое (предметно-вещественное) содержание как отдельной лексической единицы, так и высказывания в целом; под стилистическим — совокупность стилистических особенностей текста: экспрессивно-образных, эмоционально-оценочных, эмфатически-усилительных и других, служащих, в конечном итоге, выражению общего идейно-художественного замысла оригинала. Прагматический компонент содержания переводного текста предполагает полное соответствие восприятия как всего текста, так и отдельных его компонентов на другом языке.

До самого последнего времени сопоставление перевода с оригиналом ограничивалось областью семантики и синтактики. Однако без учета прагматического аспекта перевода научное сопоставление (2, 236—247) не может быть исчерпывающим (16; 11). Прагматический аспект в рамках частной теории перевода (английский и узбекский языки) до сих пор не был предметом исследования, что и определяет, с нашей точки зрения, актуальность рассмотрения данного вопроса.

В лингвистической литературе отмечалось, что теория художественного перевода может представить иллюстративный материал для семиотики (13) в плане выявления органической связи между тремя ее составными частями — синтактикой, семантикой и прагматикой. Так, рассмотрение метафоры в структурном плане позволяет, например, выяснить, каким образом соответствие или несоответствие построения синтаксической модели простой речевой метафоры в двух языках влияет на прагматику, то есть способствует или, наоборот, не способствует достижению адекватного читательского восприятия. То же относится и к семантическому содержанию метафоризируемой единицы, где тождест-

венный прагматический эффект зависит от ряда как интра-, так и экстралингвистических причин.

Ставя целью выявить условия, определяющие адекватное воспроизведение метафоры в процессе перевода, мы используем понятие «пресуппозиции».

Пресуппозиция как научное понятие разрабатывается в логике, философии и лингвистике (4; 19; 1). Однако в лингвистике этот термин до сих пор еще не имеет четкого определения, что затрудняет изучение обозначаемого им понятия. В ряде работ уже подчеркивалось, что понятие пресуппозиции в лингвистике необходимо освободить от заключенного в нем философского представления об «истинности» или «ложности» высказывания и предлагалось подходить к нему с точки зрения «достоверности» (7, 14).

В последние годы пресуппозиция привлекает к себе все большее внимание лингвистов (3, 276; 5; 8, 73—75), что объясняется ее способностью выявлять «скрытые параметры» коммуникативной функции языка (10, 3). Именно эта направленность пресуппозиции позволяет использовать ее основные положения при переводе.

Анализ языкового материала показывает, что при создании метафоры в английском языке, так же как и при формулировании любого высказывания, должны быть обязательно соблюдены пресуппозиционные условия. В противном случае будет нарушено адекватное восприятие экспрессивно-образного смысла. В процессе образования простой речевой метафоры и ее воссоздания на узбекском языке выделяются два типа пресуппозиций: пресуппозиция «достоверности» (термин Н. Ф. Иртеньевой. — 6), определяемая лингвистическими категориями, и «национально-культурная» пресуппозиция, определяемая интра- и экстралингвистическими категориями.

Под пресуппозицией «достоверности» понимается семантико-реалистическая адекватность, то есть соответствие смысла метафоры выражаемой ею реальности. Для расшифровки пресуппозиции «достоверности» необходимы следующие условия: 1) общий признак, сближающий два обозначаемых предмета, на основе которого создается речевая метафора, должен быть достоверным, то есть авторское видение должно соответствовать реальной действительности; 2) автор и переводчик должны выделять один и тот же признак; 3) выявление признака не должно быть осложнено в процессе декодирования метафоры.

Рассмотрим выполнение этих пресуппозиционных условий на конкретном материале переводов художественных произведений с английского языка на узбекский.

Расставаясь на заре с Джульеттой, Ромео подтверждает необходимость этого следующей метафорой: *Jocund day stands tiptoe on the misty mountain tops* 'Радостный день стоит на цыпочках на туманных горных вершинах'; узбекский перевод: *Қувноқ кундуз писиб турар тоғ туманида* 'Радостный день затаился в тумане гор'.

В метафорическом словосочетании — *day stands tiptoe* 'день стоит на цыпочках' актуализируемой единицей является глагольное сочетание *stands tiptoe* 'стоит на цыпочках', его актуализатором — имя существительное *a day* 'день' (15). Проведенный многоступенчатый дефиниционный анализ показал, что в глагольной метафоре актуализируется потенциальная сема «страстно желающий быть выше»: *tiptoe*. — 1. *standing or as if standing on tiptoe; hence raised as high as possible; lifted up; exalted, eager; eager* — excited by desire in the pursuit of any object,

keenly desirous (21) 'цыпочки — 1. стоящий или как бы стоящий на цыпочках; следовательно, поднятый как можно выше; подняться; возбужденный, страстно стремящийся, нетерпеливый; возбужденный сильным желанием достигнуть чего-либо, страстно желающий'.

Узбекский глагол *писмоқ* в метафорическом словосочетании *кундуз писиб турар* имеет словарные дефиниции: 1) 'таиться, скрываться, прятаться, укрываться'; 2) 'засесть, залечь (чтобы быть незаметным)'. Общий признак, соотносимый с актуализируемой семой, в данных языках оказался различным: потенциальная сема «страстно желающий быть выше» и дифференциальная сема «быть незаметным». В первом случае признак, легший в основу метафоризации, оказался достоверным по отношению к действительности — «радостный» (*josund*) день, следовательно, ясный и безоблачный. Быстро разгорается заря. В конкретно-чувственной, осязаемой форме передается картина поднимающегося из-за гор солнца; оно как будто привстает, чтобы быть выше и виднее.

В узбекском тексте не сохранена пресуппозиция «достоверности» из-за логического несоответствия: с одной стороны, день четко определяется — *кувноқ* 'радостный', с другой — он старается затаиться, не показаться.

Внеязыковая реакция у читателей оригинала и переводного текста различна — в английском языке неотвратимый рассвет торопит Ромео расстаться с Джульеттой, в узбекском тексте — рассвет не спешит и у Ромео еще есть время побыть с любимой.

Остановимся еще на одном примере, иллюстрирующем отсутствие пресуппозиционных условий достоверности. В романе Э. Л. Войнич «Овод» героиня Джемма, выполняющая повседневную, на первый взгляд, малозначительную работу в революционной организации, говорит о себе: ... because my life has been smashed into pieces, and I have not the energy to start anything real, now, I am about fit to be a revolutionary cab-horse, and do the party's drudge-work '... потому что моя жизнь разбита и у меня нет сил приступить к чему-либо стоящему, сейчас я го-жусь быть ломовой лошадию революции и выполнять тяжелую работу партии'. Она уподобляет себя *cab-horse* 'лошади, впряженной в кэб, наемный экипаж'. Признак, положенный в основу метафоризации в английском языке, — «работящая», «неутомимая», о чем сигнализирует и текстовая ситуация: *do the party's drudge-work* 'выполнять тяжелую работу партии'. Этому соответствует выполняемая героиней романа работа — незаметная, но очень нужная.

На узбекский язык данная английская метафора переведена следующим образом: *Жавоб берсам берай: бутун ҳаётим барбод бўлгани учун арзигули бирон нарсага қўл урай десам, мадорим йўқ. Мен фақат революциянинг қирчанги оти бўлишга, партиянинг ҳора ишларинигина қилишга ярайман* 'Я отвечаю: из-за того, что моя жизнь загублена, у меня нет сил взяться за что-либо стоящее. Я только го-жусь быть клячей революции, выполнять черную работу партии'. В словаре *қирчанги* от переводится так: 1) 'тощая лошадь, покрытая паршей, кляча', 2) 'челочный, паршивый'. Признак, лежащий в основе метафоризации в узбекском языке, — «плохая», «неспособная к работе». Прагматика предложения в данных языках резко противоположна, что ведет в узбекском варианте к отрицательной характеристике героини и тем искажает смысл всего предложения.

Проследим процедуру выделения признака, на основе которого строится метафора, в плане его декодирования в прагматическом аспекте. Многосторонне отражая действительность, Шекспир часто вкладывает в слова широкое семантическое содержание, что приводит к различ-

ной интерпретации переводчиками, подчас даже весьма субъективной, все это усложняет декодирование актуализируемого признака.

В одном из эпизодов «Отелло» Дездемона облекает свои слова в следующую метафору: ... his bed shall seem a school to him, his board a shrift '... его кровать покажется ему школой, стол — исповедью'.

Нас заинтересовала здесь вторая метафора — board a shrift 'стол — исповедь'. Английские толковые словари определяют значение существительного shrift — Penance imposed by the priest after confession (21) 'исповедь — покаяние, наложенное священником после исповеди', откуда следует, что признак, положенный в основу образности, можно соотнести с дифференциальной семой «покаяние» (penance).

Английская метафора на узбекском языке передана так: *Ётоқ унга мактаб булур, дастурхон — меҳроб* 'Постель ему будет школой, стол — михраб'. Согласно узбекским словарям, *меҳроб* — 'ниша в мусульманской мечети, указывающая направление на Мекку' (18). Хотя необходимо отметить, что и в узбекском языке есть понятие «исповедь», то есть религиозное таинство, заключающееся в «отпущении грехов» духовным лицом. Разница лишь в том, что мусульмане, в отличие от христиан, исповедуются не в храме, а в доме духовного лица. Есть еще одна особенность — исповедающийся («мурид») с момента исповеди и до конца жизни оказывается как бы связанным со своим «духовником». Но, как отмечалось, переводчик использует слово, означающее конкретную восточную религиозную реалию. Алтарь и михраб соответственно являются важнейшей частью христианского храма и мусульманской мечети, располагаются в их восточной части, а молящиеся стоят лицом к алтарю или михрабу. Общеизвестно, что молитва вообще совершается с целью покаяния и искупления грехов, поэтому актуализируемый признак в узбекском языке можно соотнести с ассоциативной семой «покаяние».

Таким образом, признак, положенный в основу обеих метафор, — идентичен, что обеспечивает их тождественный экспрессивно-образный смысл. Однако выполнить третье условие пресуппозиции — «достоверности» в узбекском языке оказалось нелегко. Указанный признак расшифровывается с трудом, ибо узбекская актуализируемая сема является ассоциативной, то есть противоположной более «очевидной» дифференциальной семе в английском языке.

Второй тип пресуппозиции — «национально-культурная», при которой учитывается национальная и социальная психология адресанта и конечного адресата речи, культурные различия (20; 12, 3) их фонового знания, то есть запаса сведений о социальных, этнических, географических и других особенностях языкового коллектива, говорящего на языке оригинала и перевода. Учитывается и тезаурус, понимаемый более широко, чем фоновое знание, — это весь жизненный опыт, весь запас сведений об экстралингвистической действительности, хранимый в памяти индивидуума (14; 17). Кроме этого, учитываются языковые и литературные традиции. Все это вместе взятое направлено при переводе на то, чтобы метафора вызвала у адресата речи реакцию, тождественную или аналогичную реакции читателя оригинала.

Оба типа пресуппозиций тесно связаны между собой и разграничиваются нами условно для удобства их изучения.

Полоний в трагедии Шекспира «Гамлет» использует следующую метафору: ... the bait of falsehood takes the carp of truth '... приманка лжи ловит карпа правды'.

Для английских метафор характерна морская ориентация, объясняющаяся тесной связью всего жизненного уклада Англии с морем. Пе-

реводчик, учитывая географические особенности своей родины, изменяет характер образности, что, думается, прагматически оправдано:

*Елгондан ққурган шу тузогингизга
Албат тушиб қолғуси ҳақиқат қуши.
‘В силки, сплетенные из лжи,
Обязательно попадется птица правды’.*

Этот образ, будучи близким узбекскому читателю, в то же время не имеет узко национальной ориентации. Кроме того, переводчик учитывает узбекскую поэтическую традицию — «кочующий сюжет» многочисленных народных легенд о «птице счастья» и по аналогии строит речевую метафору «птица правды» (*ҳақиқат қуши*). Замена одного образа «карап → птица» потребовала замены другого «приманка → силки» и в результате — «приманка — карап → силки — птица».

Рассмотрим еще пример на второй тип presupпозиции:

If that the earth could teem with woman's tears,
Each drop she falls would prove a crocodile.
‘Если земля могла бы родить от женских слез,
Каждая капля, которую она роняет, оказалась бы крокодилом’.
*Хотин киши ёши билан ер бугуз бўлса,
Хар қатра ёш туғар эди калтакесак.
‘Если бы земля могла забеременеть от женских слез,
Каждая капля слезы рождала бы ящерицу’.*

В индоевропейских языках известно идиоматическое выражение «крокодиловы слезы» (crocodile tears), которым характеризуется лицемерный человек. В английских толковых словарях ему дается следующее толкование: a person who weeps or makes a show of sorrow hypocritically or with malicious purpose («человек, который плачет или проявляет чувство горя притворно или со злым умыслом»). На этой основе и строит Шекспир свою метафору. Семная структура слова crocodile содержит в себе дифференциальную сему «лицемерный», «притворный» (см. вышеуказанную словарную дефиницию). При переводе этой метафоры переводчик заменяет данный метафорический образ crocodile ‘крокодил’ → ‘ящерица’ — *калтакесак*. Англичане, завоеывая колонии, открывали для себя неведомый им до того мир тропической природы, знакомились с его флорой и фауной. В Средней Азии же, как известно, крокодилы не обитают, но водится другой вид класса пресмыкающихся — ящерицы, что и объясняет замену метафорического образа.

Семная структура существительного *калтакесак* ‘ящерица’ не имеет вышеуказанной семы, но, как подтверждают информанты, в ней присутствует ассоциативная сема «омерзительность». Данная сема выводится также и на основе фонового знания факта — узбеки считают, что прикосновение к ящерице оскверняет человека. Это — пример замены метафорического образа, сохраняющей адекватность прагматического восприятия. Однако в данном случае эта адекватность достигается ценой определенных семантико-стилистических потерь. В оригинале отрицательные оценочно-экспрессивные контекстуальные смыслы строятся на основе семантического признака «притворство», а в переводе на основе ассоциативного признака «омерзительность». Таким образом, если в оригинале слезы Дездемоны представляются неискренними, то в переводе они вызывают неприязненное чувство.

В тексте узбекского перевода особого внимания заслуживают упоминающиеся в нем реалии, то есть лексические единицы, соотносимые с экстралингвистическими коррелятами, присущими английскому языку и английской культуре, и не характерные для узбекского языка. Так, Гамлет, говоря бродячим актерам о том, что сыгранная ими пьеса не

имела успеха у публики, употребляет следующую фразу: For the Play I remember pleas'd not the million, 'twas Caviar to the general; but it was... an excellent Play 'Я помню, пьеса не понравилась основной массе публики, это для большинства было икрой, однако ... это была отличная пьеса'. Caviar (икра) была популярна в Англии уже во времена Шекспира, однако только среди достаточно обеспеченных людей, тем же, кому она была не по карману, она казалась «невкусной»: Unpalatable to those who have not acquired a taste of it (21) «Невкусная для тех, кто не постиг ее вкуса», то есть данная пьеса, хочет подчеркнуть Гамлет, была слишком утонченной, чтобы каждый мог ее понять и оценить.

Национальной узбекской кухне икра почти не была известна. По свидетельству информантов, икра как продукт питания у носителей узбекского языка вызывает отрицательную коннотацию. Данное обстоятельство делает необходимым объяснительный перевод: ... *у нарса саҳнага қўйилган эмас эди, ё бўлмаса бир марта қўйилиб кишиларга ёқмаган эди шекилли, қўпчиликка у увулдиқдай бадҳазм бир нарса бўлиб қўринди* '... эта вещь на сцене не ставилась, а, может быть, была поставлена один раз и зрителям не понравилась, большинству она показалась неудобоваримой, как икра', то есть «неудобоваримой пьесой для основной массы зрителей».

Переводчик в процессе работы не должен забывать о фоновом знании и тезаурусе будущего читателя, особенно при переводе метафор, иначе стремление во что бы то ни стало сохранить специфические экспрессивно-образные особенности оригинала может обернуться в целом творческой неудачей.

У Шекспира в «Ромео и Джульетте» встречается такая метафора: Speak to my gossip Venus one fair word 'Скажи сплетнице Венере всю правду'.

В оригинале информация о том, кто такая Венера, пресуппозиционно присутствует в метафорическом словосочетании gossip Venus 'сплетница Венера'. Древнеримская мифология была хорошо известна современникам Шекспира и понятна им.

В переводе импликация уступает место экспликации, то есть с помощью языковых средств выражается дополнительная информация: *Ишиқ тангриси Венерага бир огиз гап оч* 'Богине любви Венере замолви слово'. Несомненно, переводчик мог данную английскую метафору перевести как *гап ташучи Венера*, или *сергап Венера* и тогда узбекский читатель вправе был бы полагать, что речь идет о какой-то болтливой женщине по имени Венера. Переводчик сознательно жертвует метафорой, ибо две новые информации о том, кто такая Венера, и о том, что Венера — сплетница, в пределах одного предложения могут быть восприняты как взаимоисключающие. Понятия «богиня» и «сплетница» даже в контексте окажутся несовместимыми и поэтому — непонятными узбекскому читателю.

Естественно, что потеря метафоры, хотя и оправданная, все же сказывается на прагматике: в оригинале метафора придает всему высказыванию иронический оттенок, а в переводе отсутствие метафоры делает все предложение торжественно приподнятым.

Анализ конкретного материала еще раз подтверждает необходимость включения прагматического аспекта перевода в общую переводческую проблематику как наиболее важного фактора, обеспечивающего адекватность восприятия читателем переводного произведения того или иного языкового явления в нем и, в конечном итоге, текста в целом.

Осмысление и классификация конкретных условий как лингвистических, так и экстралингвистических нужны для решения этой группы

вопросов. Очевидно, что перевод каждого отдельного языкового явления требует соблюдения своих, специфических для него пресуппозиционных условий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Н. Д. Арутюнова. Понятие о пресуппозиции в лингвистике. — «Известия АН СССР, ОЛЯ», 1973, № 1.
2. Ж. Б. Буронов. Инглиз ва ўзбек тиллари қиёсий грамматикаси. Тошкент, 1973.
3. И. Р. Гальперин. О принципах семантического анализа стилистически маркированных отрезков текста. — В кн.: «Теория языка. Англистика. Кельтология». М., 1976.
4. R. Garner. «Presupposition» in *Philosophy and Linguistics*. — «*Studies in Linguistic Semantics*», New York, 1971.
5. В. А. Звегинцев. Предложение и его отношение к языку и речи. М., 1976.
6. Н. Ф. Иртеньева. Пресуппозиция, смысл предложения и их классификация. — В сб.: «Проблемы семантического синтаксиса (лингвистическая пресуппозиция)». Пятигорск, 1975.
7. Н. Ф. Иртеньева. О лингвистической пресуппозиции. Там же.
8. Г. В. Колшанский. О понятии контекстной семантики. — В кн.: «Теория языка. Англистика. Кельтология». М., 1976.
9. В. Н. Комиссаров. Вопросы теории перевода в современной лингвистике. — В сб.: «Лингвистика и методика в высшей школе». М., 1970.
10. В. В. Лазарев. Некоторые аспекты теории пресуппозиции. — В сб.: «Проблемы семантического синтаксиса (лингвистическая пресуппозиция)». Пятигорск, 1975.
11. Э. М. Медникова. Прагматический аспект текста. Лингвистика текста. Ч. I, М., 1974.
12. Ю. А. Найда. Наука перевода. — «Вопросы языкознания», 1970, № 4.
13. И. И. Ревзин. Семiotический комментарий к чешской книге о переводе. — В сб.: «Мастерство перевода». М., 1966.
14. Л. Т. Турбович. Информационно-семантическая модель обучения. Л., 1970.
15. Р. А. Турабаева. Опыт анализа семантических соответствий при переводе простой речевой метафоры с английского языка на узбекский. — В сб.: «Иностранные языки в вузах Узбекистана». Ташкент, 1978.
16. А. Д. Шрейдер. Перевод и лингвистика. М., 1973.
17. А. Д. Шрейдер. О семантических аспектах теории информации. — В сб.: «Информация и кибернетика». М., 1967.
18. «Ўзбекча-русча дугат». М., 1959.
19. Ch. Fillmore. Types of Lexical information. — «*Studies in Syntax and Semantics*», Dordrecht, 1969.
20. G. Mounin. *Les problemes théoriques de la traduction*. Paris, 1963.
21. «The Concise Oxford Dictionary». London, 1956.

Н. КУДАЧИНА

К ЭТИМОЛОГИИ СЛОВА «БАЙ» В АЛТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Традиционные запреты в языке аборигенов Алтая обозначаются словом *бай*, что указывает на тотемическое отношение к тому или иному одушевленному или неодушевленному объекту. Анализируя значения словосочетаний, основой которых является компонент *бай*, можно предположить, что эта основа имела и другое более раннее значение: «предок, покровитель». Последующая семантическая эволюция слова *бай* проходила, по-видимому, в двух следующих основных направлениях:

1) «предок, покровитель», «родоначальник», «священный», «запретный», «воздержанный», «осторожный», «берегущийся», «брезгливый», «скромный», «простой», «бедный», «жалкий», «униженный», «беспечный», «болтливый», «развязный», «чванливый»;

2) «предок, покровитель», «родоначальник», «первый», «старший», «священный», «почтенный», «уважаемый», «знатный», «имущий», «богатый», «изобилующий», «полный» и т. п.

Слова первой группы первоначально были связаны с культовыми запретами и употреблялись при совершении религиозных обрядов; слова второй группы отражали возрастные категории и социальные отношения.

В большинстве современных тюркских языков слово *бай* означает «старший», «уважаемый», «богатый», «полный», однако имеются также формы, относимые исследователями к этимологически неясным основам или к заимствованиям.

В настоящей статье рассматриваются более ранние значения основы *бай* и делается попытка возвести ее к древнейшей, исходной — иша 'мать' (др.-тюрк.)¹.

Приведем выборочно взятые примеры для этимологического анализа.

Бай сös < *бай* 'предок, покровитель' + *сös* 'слово' = 'слово, с которым обращаются к предку, покровителю', 'священное слово', 'запретное слово' (то есть слово, которое нельзя произносить вслух из-за различных религиозных запретов); ср. др.-тюрк.: *bajig* 'правдивый, истинный': *bajig söz* 'правдивое слово'².

Бай ат < 1) *бай* (значение см. выше) + *ат* 'имя' = 'имя предка, покровителя', 'священное имя' (вторичное имя, данное человеку, животному или неодушевленному объекту, указывающее тем самым на особо уважительное отношение к нему); 2) *байат* (телеут.), *bajat* (др.-тюрк.) 'бог'; *bajat ati birle sözüg bašladim* 'с именем бога я начал свою речь'³.

¹ С. Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности. М.—Л., 1951, стр. 438.

² «Древнетюркский словарь». Л., 1969, стр. 79.

³ Там же.

Для сочетания *бай* + *ат* указано два значения: первое — «священное имя» — является более ранним по отношению ко второму значению — «бог», ибо во втором случае данное понятие для верующего обозначает конкретное существо — бога, в первом же оно функционирует как универсальное абстрактное понятие. Так, например, *бай ат* 'священное имя' в алтайском языке относилось и к имени человека, и к названию животных, и к наименованию предметов и явлений. Ср. выражения: *кижинин бай ады* 'имя — заместитель основного имени человека'; *аннын бай ады* 'название — замещение основного названия зверя'; *неминин бай ады* 'замещение прямого наименования предмета или явления'.

Байат «бог» приобрело данное конкретное значение несколько позднее; оно становится затем и этнонимом, например: *баят* — девятый из родов туркмен огузов⁴ и название рода у телеутов.

Бай кайын < *бай* (значение см. выше) + *кайын* 'береза' = 'береза, которая является предком, покровителем, возможно, тотемом рода', 'священная береза', 'запретная береза'. На Алтае существовал родовой и общий запрет по отношению к таким деревьям и кустарникам, как *кайын* 'береза', *мош* 'кедр', *арчын* 'можжевельник', *ыргай* 'жимолость'. Так, например, *ыргай* 'жимолость', эвфемизмом которого является сочетание *ўзсўт агаш* 'крепкое дерево', у алтайцев — запретное дерево — кустарник: *оны кеспес, ўребес, эт тиштебес* 'его без нужды не рубят, не ломают, на нем не готовят мясо над огнем'. Такое отношение к жимолости (*ыргай*), возможно, чисто утилитарное и, по-видимому, объясняется тем, что длинные, гибкие ветки ее используются в качестве выбивалок, а так как данный кустарник редко можно найти поблизости от жилья, то возникает необходимость бережного отношения к нему. Родовой запрет проявлялся в том, что особенно почитаемой и священной (*байлу агаш*) была жимолость для женщин из рода иркит: они не имели права перешагивать через ветки растения.

Распространенный в этнографической литературе перевод слова *бай* в значении «богатый» в словосочетании *бай агаш*, на наш взгляд, не точен. В данном случае семантически исходным является не социальное значение «богатый», а религиозное «священный», ибо именно высокое, толстое, ветвистое дерево и могло быть связано с представлением о предке-патриархе; дерево — или какой-либо вид его — могло использоваться и в качестве атрибута религиозного обряда. Например, известно, что у народов Алтая для изгнания злых духов из жилища совершали специальный обряд его окуривания — *аластаганы*, для чего сжигали ветвь можжевельника. Можжевельник (*арчын*) почитался при этом священным. Бытовал и другой обряд — шкуру, снятую с жертвенного животного, вывешивали на березовую жердь. Береза (*кайын*) также являлась священным деревом. Подобное отношение к деревьям, возможно, объясняется тем, что деревья играли важную роль в религиозных обрядах, широко использовались для хозяйственных нужд, и поэтому необходимо было беречь их. *Бай* в сочетании с *агаш* в этом случае следует понимать и как «бережное отношение, беречь».

Бай терек < *бай* (значение см. выше) + *терек* 'тополь' = 'священный тополь' (тополь, возможно, являющийся тотемом), 'запретный тополь'.

Бай куш < *бай* (значение см. выше) + *куш* 'птица' = 'священная птица' (птица — тотем), 'запретная птица'. В алтайском языке *бай-куш* — эвфемизм названия птицы — филина (*ўкў*).

⁴ «Древнетюркский словарь», стр. 79.

Э. В. Севортян отмечал, что «В. В. Радлов предлагал две этимологии для *байкуш*: 1) из *бай-куш* Р IV₁₄₂₃ (осм.); так же у А. Н. Самойловича... и М. Рэсэнена..., 2) из перс. ... *байхуш* (Р IV₁₄₂₄). Тем не менее исходное семантическое строение всех вышеприведенных обозначений остается затемненным... Дёрфер предполагает, что *-baiguš* — результат табу...»⁵.

Из указанных этимологий для *бай куш* наиболее убедительной, по нашему мнению, является предложенная Г. Дёрфером, что подтверждает и приведенный выше пример из алтайского языка.

Байлу ат < *бай* (значение см. выше) + аффикс со значением обладания *-лу* + *ат* 'лошадь' (то есть животное, которое будет принесено в жертву покровителям рода, и станет как бы связующим началом между людьми и их предками) = 'животное, которое принадлежит предкам', 'священное животное' (за животным, предназначенным для жертвоприношения, особенно заботливо ухаживают, в гриву лошади влетают красную ленту), 'запретное животное' (такая лошадь не используется в домашнем хозяйстве и на нее запрещено садиться замужней женщине).

Возможно, что и слово *байтал* 'не жеребившаяся кобылица' (ср. кирг., каз. диал. *байтал* 'белая кобылица')⁶ связано с понятием о предке, покровителе. Как известно, у алтайцев для жертвоприношения также выбирались животные светлой масти. Ср. еще: *пайталчы* (телеут.) 'проводник души жертвенного животного'⁷.

Бай тере < *бай* (значение см. выше) + *тере* 'шкура' (дословно: шкура предков, покровителей рода, то есть шкура животного, принесенного в жертву предкам) = 'священная шкура'; ср. *пайдара* (телеут.) 'вывешенная шкура жертвенного животного'⁸. *Бай тере* как имя собственное является эвфемизмом названия родового объекта — горы Белухи, у подножья которой происходили обряды родовых жертвоприношений предкам и самой горе. Известно, что шкура принесенного в жертву животного вывешивалась на специальном шесте и считалась священной. Указанные признаки и явились главными при образовании эвфемизма для названия горы.

Байлу јер < *бай* (значение см. выше) + аффикс со значением обладания *-лу* + *јер* 'земля, место, местность' = 'территория, связанная с предками', 'священная земля, место, местность' ('родовая территория, с которой связаны определенные запреты').

Байлан < *бай* (значение см. выше): 1) 'оказывать особое почтение предку', 'остерегаться', 'беречься', 'воздерживаться': *оорыдан байлан!* 'остерегайся болезни!', *јаман сѳстѳн байлан!* 'воздерживайся от дурных слов'⁹; 2) 'брезговать': *мен оној байланып јадым* 'я брезгую им'.

Байы — *чѳми јок улус* 'простые, скромные в общении люди'.

Бай јок кижѳ 'человек, который сам не придерживается традиционных запретов', 'человек, по отношению к которому не следует придерживаться запретов, условностей', 'человек, которого не уважают', 'униженный', 'бедный', 'жалкий', 'беззаботный', 'беспечный'. Два последних слова являются результатом последовательного развития значений выражения 'человек, который сам не придерживается традиционных запретов'. К данному понятию восходят:

байыркак 'высокомерный', 'чванливый', 'кпчливый';

⁵ Э. В. Севортян. Этимологический словарь тюркских языков. Т. II. М., 1978, стр. 33.

⁶ Там же, стр. 37.

⁷ В. В. Радлов. Опыт словаря тюркских наречий. Т. IV, ч. 2. М., 1911, стр. 1122—1123.

⁸ Там же, стр. 1123.

⁹ Там же, стр. 1121.

байбан/байбаң (тув.)¹⁰ 'болтливый', 'развязный';

бай бар бу керекте — конструкция, содержащая в себе отрицание: «ничего сложного в этом деле нет», то есть «легкое, простое дело; дело, не требующее особых усилий»;

бай бар менде, бу эскини де кийип алзам кем жок 'я не стесняюсь, если и это старое надену — ничего'.

В словаре Э. В. Севортяна по поводу исходной лексической основы для *байкуш/ba:jguš* (значения группы 4, 5)¹¹ сказано: «... трудно представить семантическую эволюцию 'богатый' → 'бедный', 'бедняк' (значения гр. 4) или 'богатый' → 'глупец', 'ротозей' (значения гр. 5)»¹². Автор предполагает: «...там, где *байкуш* означает 'бедняк' или 'глупец', т. е. в абсолютном большинстве тюркских языков, элемент *бай* более правдомерно связать с другим лексическим источником. Одним из них может быть, например, *бай-* 'обманывать', 'убеждать', 'втирать очки', 'оставлять под впечатлением' тур. диал. ..., отсюда производное *байтак* 'глупый', 'дурень'...»¹³.

При сравнении и сопоставлении примеров из алтайского языка с примерами, данными в указанном словаре, можно, на наш взгляд, принять за исходное значение, отмеченное в алтайском. В этом случае можно более объективно объяснить этимологию слов с компонентом *бай*. Для приводимых ниже слов из древнетюркского языка предлагаем следующий анализ семантического развития основы *бай*:

байяр < *бай/бай* 'предок, покровитель', 'патрон', 'старший', 'почтенный', 'уважаемый', 'имущий', 'богатый' + *яр* 'мужчина', 'человек' = 'богатый человек'. В этом последнем значении (как «древнейшее») *байяр* и приведено у Э. В. Севортяна¹⁴;

байбалиг геогр. уйгурский город Бай-Балык на р. Селенге¹⁵ < *бай/бай* (значение см. выше) 'родовая территория, то есть территория, имеющая отношение к предкам', 'священная территория', 'почитаемая территория', затем — собственное название поселения — города;

байууаг географическая местность Бай-Иыгач¹⁶ < *бай/бай* (значение см. выше) + *иыгач/агаиш* 'дерево, имеющее отношение к предкам' (может быть, растущее на родовой территории и выбранное для совершения обрядов) 'священное дерево', 'почитаемое дерево', отсюда *Бай-Иыгач* — собственное название местности;

байана < *бай* (значение см. выше) + *ана* 'самка', 'мать', 'женское' = 'предок, покровитель'; 'родоначальница'.

По тотемистическим представлениям алтайцев *байана* 'предок, покровитель' может являться человеку, например, в образе животного. Так, представитель рода мундус, увидев во сне быка или корову, скажет, что он видел предка, покровителя своего рода (*бойынын байаназын көргөн*) в образе данного животного. Предком, покровителем рода *көбжө*, является *кой* 'овца' и т. д.

В сложном образовании *байана* компонент *ана* образовался, возможно, по аналогии с сочетанием *от-эне* 'дух — хозяин огня' (дословно: огонь—мать). В составных словах *бай-ана*, *от-эне* их компонент *ана/эне* в сочетании со значением «хозяин огня», предстающим в образе женщины, выражает, по-видимому, мысль о том, что именно женщина дала жизнь всему живому. Из этого следует, что в *байана* (алт.) 'дух — по-

¹⁰ «Тувинско-русский словарь». М., 1968, стр. 85.

¹¹ Э. В. Севортян. Указ. словарь, стр. 33.

¹² Там же.

¹³ Там же.

¹⁴ Там же.

¹⁵ «Древнетюркский словарь», стр. 79.

¹⁶ Э. В. Севортян. Указ. словарь, стр. 79.

кровитель детей и взрослых' / *Бай* — *Байанай* (якут.) 'дух — покровитель звероловов и рыбаков'¹⁷ / *Май-энези* (телеут.) 'дух — хранитель детей' / *Умай* (кирг.) 'мифическое женское существо, охраняющее младенцев; к нему обращаются мужчины и женщины'¹⁸ / *Умай* (шорск.) 'добрый дух, хранитель младенцев; дух, который берет души умерших; обычно говорят — *умай айнази ...*'¹⁹ / *Умай* (др.-тюрк.) 'женское божество' — все основы восходят в различном фонетическом и морфологическом оформлении к изначальному древнейшему *ита* 'мать' + *i* — звательный аффикс.

Относительно слова *Умай* 'богиня, покровительница детей' имеется и другая точка зрения. В частности, Н. А. Баскаков считает данное слово возможным заимствованием из санскрита: *Маййа/Махамаййа* 'мать Будды...'²⁰.

Позднее в данном слове при представлении им предка, покровителя рода в образе конкретного тотема (животного, объекта), значение «самка», «мать», «женское» становится менее явным. Так, в алтайском, телеутском, якутском, шорском к *бай* прибавляется компонент *ана/әнә* + *й* (значение аффикса см. выше), то есть получаем: *байана* < *бай* 'мать' + *ана* 'самка', 'мать', 'женское' / *Майәнә* < *май* 'мать' + *әнә* (значение см. выше) = 'родоначальница', 'женское божество', 'тотем'. В якутском *Бай Байанай* < *Бай* 'мать' + *Бай* 'мать' + *ана* (значение см. выше) + *й* (значение аффикса см. выше) появление *Бай* перед *Байанай* можно объяснить как утрату значения 'мать' в сложном образовании *Байанай*, семантически обозначающем только понятие «дух — покровитель звероловов и рыбаков». *Бай* присутствует здесь для указания на связь данного слова с его древнейшим значением — *ита* 'мать'.

Основа *ита* 'мать' → *Умай* 'утроба матери, матка'²¹, *Умай* 'послед, детское место, чрево матери'²² → 'женское божество', 'божество, покровительствующее детям', 'родоначальница — предок', 'тотем', постепенно теряя значение «принадлежащее женскому», начинает выражать в эпоху ослабления матриархата уже отдаленные от исходной основы понятия. Но последовательный этимологический анализ слов и выражений, содержащих компонент *бай*, указывает на степень семантической эволюции и на основное, древнее значение корня.

Лингвистический и этнографический анализ соответствующих материалов показывает, что развитие семантики слова *бай* было обусловлено характером и особенностями религиозных верований. «Корень *бай/пай/май* в тюркских языках тесно связан с различного рода синкретическими действиями шаманских мистерий, радений, заговоров, колдовства, заклинаний, а в связи с этим и с празднествами жертвоприношения, веселья, пира, песнопениями, сказаниями и пр.»²³. Это высказывание как бы подводит закономерный итог всем исследованиям, имеющим отношение к слову *бай*.

¹⁷ Э. К. Пекарский. Словарь якутского языка. Т. I, вып. 1—4. М., 1958, стр. 341.

¹⁸ К. К. Юдахин. Киргизско-русский словарь. М., 1965, стр. 804.

¹⁹ В. В. Радлов. Указ. раб., т. I, ч. 2, стр. 1788.

²⁰ Н. А. Баскаков. Мифологические и эпические имена собственные в «Слове о полку Игореве». (К этимологии «Велес» и «Боян»). — «Восточная филология», т. II. Тбилиси, 1975.

²¹ С. Е. Малов. Указ. раб., стр. 438.

²² «Древнетюркский словарь», стр. 611.

²³ Н. А. Баскаков. Указ. раб.

Р. Г. АХМЕТЬЯНОВ

«ЛЕС», «ДЕРЕВО» И «БАРС» У ТЮРКОВ
(ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ)

1. Лес и дерево у тюрков (аҗаҭ, orman, bajterek).

1.1. Аҗаҭ (фонетические варианты јаҗаҭ, јуҗаҭ, зуҗаҭ, ујаҭ, паиҭ, маҭ и пр.) 'дерево, лес, мера расстояния — фарсах, тополь; деревянный' Э. В. Севортян (Севортян, I, 71—73) возводит к древнетюркскому: у 'растение, кустарник' плюс аффикс -җаҭ (в увеличительном значении). Действительно, в древнетюркских языках в составе парных выражений типа у-уҗаҭ 'растения и деревья', у-тарыҗ 'злаки' и самостоятельно зафиксировано слово у, і с указанным значением. Однако сомнительно, чтобы дерево называли большой травой — такой смысловой переход необычен. Да и с фонетической точки зрения вариант с узким гласным (уҗаҭ) представляется вторичным, поскольку в огромном большинстве вариантов в первом слоге выступает а. Поэтому этимология Э. В. Севортяна нуждается в уточнении.

В узбекском просторечии (говор Ленинабадской области Таджикской ССР) нами зафиксирован вариант јоҗуоҭ (при литературном узбекском јоҗоҭ 'дерево, деревянный'). В узбекском языке и его говорах геминация согласных возникает при регрессивной ассимиляции сонорных согласных (биттә 'один, весь' из бирта; бүжжәк 'угол' из бурчәк; дәллик 'потник' из туркменского дарлик и т. п.: см. УХШЛ, 52, 57, 80). Отсюда следует, что корень слова *јоҗуоҭ, *јаҗаҭ, по всей вероятности, ранее оканчивался на какой-нибудь сонорный согласный (например, на җ, җ, п).

Первичным значением указанного корня (јаҗ, јау, јап)¹ было, вероятно, не «трава, травинка», а «роща, лес посреди степи». В диалектах сибирских татар ангац означал «дуброва» (Гиганов). Древние тюрки жили в лесостепной зоне. Для кочевника, всадника дерево в степи было скорее не «большой травинкой», а «маленьким лесом» и аффикс -җаҭ в слове *јаҗаҭ выступал в своем основном, уменьшительном значении. Значение јуҗаҭ '6—7 или 6—8 км' (см. Будагов, I, 61) — это расстояние, с которого можно видеть кущу деревьев или одинокое большое дерево (см. Zenker, 979). Татарское диалектное йушач (ТТДС, 175), объясняемое как «противоположный берег реки», на самом деле означает «речная пойма, пойменный лес»; это слово, вероятно, заимствовано из бул-

¹ См.: А. Ахундов. Азербайжан дилинин тарихи-этимоложи лүгәтинә анд материаллар. — «Ученые записки Азербайджанского государственного университета им. С. М. Кирова», № 1. Баку, 1972, стр. 12; Л. В. Дмитриева. Из этимологии названий растений в тюркских, монгольских и тунгусских языках. — «Исследования в области этимологии алтайских языков». М., 1979, стр. 136—143.

гарского (см. чув. *juväs'* 'дерево'). Значение «противоположный берег» возникло потому, что, как правило, селения находятся на крутом, холмистом берегу реки и заливаемые внешними водами поймы представляются «противоположным берегом».

В тунгусских языках лес на равнине называется *ayı*, *ayıñ* (*ayıñkañ* 'житель лесов': *-kañ* — аффикс, образующий названия лиц по месту жительства). Сравнение с тунгусским корнем объясняет вариативность первого слога в тюркском названии дерева: *ayıñ*, *aiñ* в разных тюркских диалектах давало филнации *ay//yü*, *jyñ//jyü* и др.

По-видимому, к *ayyaş*, **jañyaş* 'лесок, дерево' восходит и татаро-башкирское *jalyaş* 'деревянное корыто; колода у водооя; деревянная чаша' (ТТДС, 162; Бһһ, II, 83) из **jalyaş* < **jañyaş*, ср. восточнотюркское (Zenker, 954) *jalaq* 'корыто' < **jañlaq*. Названия сосудов во многих случаях происходят от названия материала, из которого они изготовляются, ср. тат. *çijün* 'чугун, чугунный сосуд, чугунок', тат. *mis* 'миска' из перс. *mis*, *mes* 'красная медь'; тат. *badjan* 'вид дерева; сосуд из этого дерева' и т. п. Киргизское *žyuaş* в выражении *žyuaş tüšür* 'угощать весь аул новости' (ср. также *qazan tüšür* в том же значении) означает, видимо, «большой деревянный сосуд».

1.2. *Ogman* (фонетические варианты *igman*, *vāgman* и др.) 'лес, густой лес, дерево, ель' (Севортян, I, 472—473) не имеет убедительной этимологии. Возведение этого слова к тохарскому *og* 'дерево, дрова' вызывает законный вопрос: почему турки должны были заимствовать название леса у жителей пустынь? Конечно, если это слово образовано при помощи аффикса *-man* (по-видимому, так и есть)², корнем может быть лишь **og*. Но, на наш взгляд, этот корень надо сопоставить с эвенкийским *üge*, *hüge*, *hüga* 'гора, горная тайга', ср. эвенк. *ügeten* 'гористый, лесистый; гористо-лесистый'.

Наряду со словом *ogman* в тюрко-монгольских языках имеются и другие слова на *-man* с подобным значением:

тат. *ägätä*, удмурт., мар. *агата*, мордва-эрзян. *игата* ~ русск. диал. *урема́, урёма* (Фасмер, IV, 167) 'пойменный лес; кустарник в низине возле реки, кустарник, чаща мелкого леса по склонам гор', башк. диал. *igätän* 'высокая трава с твердым стеблем и с белыми цветками' (Бһһ, I, 75), *igätäl*, *igätän* 'название горного хребта и его самой высокой вершины на южном Урале', абазин. (из тюрк.) *гарама* 'букет, гроздь', башк. *ägätä* 'ольховник', *ägätän* 'кустарник, камыш по берегам рек' (откуда *ägätändi*, *ägätänti* 'лягушка', Бһһ, II, 323);

тат. *ägim*, чув. *agām*, кирг. *егте*, калм. *егт*, *егте*, *егтә* 'полюнь', бурят. *ägimä* 'синеватая полюнь'; в других тюркских языках сохраняется конечный *-n/-ŋ*: каз. *jetmen*, *jetmene*, уйг., узб. *ägman*, койбал. *erbän*, сиб. тат. *igätän* 'полюнь';

тат. *itän*, уйг., кирг. *етән*, каз., ккалп., кумык. *етеп*, алт. *егтеп* 'дуб, тополь', сиб. тат. *ушап* 'липа' и др. Чувашское *jūman* 'дуб' закономерно получилось из древнебулгарского **arman* (> **ajman* > **ajman* > *joman* > *jūman*, ср. чув. *jūs* 'горноста́й' из *jos* > **ajs* < *ars*, ср. кирг. *agys* 'горноста́й').

Очевидно, слова *ägätän* 'прибрежный кустарник' (общеалтайский «беглый» *-n* в конце слов), *етеп*, *itän* 'дуб, дубняк по склонам' и *ägman*, *ägim* 'полюнь'³, а также *ogman* 'лес' восходят к единой основе. Об-

² Л. С. Левинская. Историческая морфология чувашского языка. М., 1976, стр. 136.

³ На этимологическое родство слов *ägim* 'полюнь' и *ägätä* 'кустарник' указывал и В. Г. Егоров в своем «Этимологическом словаре чувашского языка» (Чебоксары, 1964, стр. 346).

шим значением этой основы было «растительность на берегу и на склонах», но могло быть «лес вообще» (в особенности ель и дуб) и «полян» — в зависимости от географических поясов.

С фонетической точки зрения связующим звеном между *ogaman и āgāmān являются бурятское ūrmedehen 'полян' (из *ūrmen — desen: < -desen — аффикс совокупной множественности) и венгерское (из тюркских языков) ūgōt 'полян'. Основы *ogaman, *ugaman и āgāmān восходят, вероятно, к некоей древней основе *aŭgaman. Корень *aŭga (откуда получилось и тюркское *og⁴, и эвенкийское hūge, ūge) можно сравнить с монгольским aŭla (в разных монгольских языках и диалектах aoiā, ōla, ūla) 'гора, возвышенность' (Номинханов, 270).

Переход значения «гора > лес, кустарник» наблюдается в ряде случаев, см. тат., башк. šayul, sayul 'склон горы, овраг', каз., šayul 'горка из песка или щебня' ~ тат. диал. šawyl, sawyl, алт. šaal 'низкий кустарник; молодое дерево'; общетюрк. taŭ, taw, too 'гора' ~ якут. tua 'лес, тайга' и т. п.

1.3. Таким образом, в полном соответствии с типологическими семантическими закономерностями, у древних алтайских народов плохо разграничивались понятия «лес» и «дерево» (хотя при этом отдельные виды и породы деревьев имели свои названия), но зато хорошо различались понятия «лес на равнине» — *jaŭŭas < *ajiŭŭas и «лес на склонах» — *aŭgaman.

1.4. К слову ogman примыкает тат., кирг. šutygman, башк. sytygman, каз., ног. šutygman, хак. sydygban 'чащоба; терновник; мелкий частый лес; хворост, валежник'; последнее слово Л. Будагов этимологизировал как čit ogman 'краевой лес, чащоба по краям большого леса' (Будагов, I, 470). Однако слово šutygman трудно отделить от тат., кирг. šutyg, башк. sytyg, каз. šutyg 'заросли терновника; вид густорастущей травы, пажитник'.

Данное слово можно этимологизировать в виде *čyt og 'терновник — лес', см. сиб. тат. čyt 'плетень' (Тумашева, 223), др.-тюрк. čyt, čit 'шалаш из камыша, терновника' (ДТС, 146, 151).

1.5. В татарских и башкирских диалектах (особенно в говорах сибирских татар) имеется ряд специальных названий разновидностей леса: mišā, mišā, bišā 'хвойный лес', tiŭki 'молодой сосняк', tuŭra 'лес молодых лиственных деревьев' (главным образом дубняк), šawqa 'молодой березняк', šybaq 'ивняк' и др. Иногда название разновидности дерева одновременно употребляется и как название соответствующей разновидности леса, ср. тат., башк. quwaq 'куст' ~ чув. хāva 'ива, ивняк', сиб. тат. čūj, čiv 'кедр; кедровник'; quŭu, ugman и juš в значениях «ель, еловый лес»; qaŭaŭaj и šyŭŭr (šyr) в значениях «сосна, сосняк» (параллельно употребляются, конечно, и названия лесов по словообразовательной модели при помощи аффиксов -lyq и -sar: qaŭaŭajlyq 'сосняк, бор', qaŭp-sar 'березняк' и пр.).

Совпадение названий дерева и леса имело место большей частью в тех случаях, когда порода того или иного дерева представляла особый интерес, например, mišā, mišā означало деловую древесину (см. Насыри, 252), каковой были именно хвойные породы, сплавывшиеся по реке, также именовавшейся Mišā (Тат. АССР). Поскольку в Малой Азии к деловой древесине относился главным образом дуб, в турецком языке miše означает «дуб» (mišelik 'дубняк') и т. д. Слово tuŭra 'молодой лиственный лес, дубняк, снятая кора, пень спиленного дерева, камедь'

⁴ О переходе aŭ > ō, о см.: N. Poppe. Introduction to mongolian comparative studies. Helsinki, 1955 (MSFOU, 110), стр. 43, 67—68.

(ТТДС, 424) происходит от древнетюркского *toŋraq* 'тополь', *toŋraŋu* 'смола, древесный клей' (ДТС, 571): очевидно, оно первоначально обозначало все деревья, дающие древесный клей, дубильные вещества и т. п.

1.6. *Terek* (фонетические варианты *täräk*, *derek*, *tiräk*) 'дерево вообще; посаженное дерево, тополь; узор; вышитое на полотенце и т. п. дерево', является заимствованием из персидского, где *dāraxt* 'дерево' (ср. уйг., кирг. диал. *darak* 'дерево').

В древности слово *terek* означало, видимо, не любое дерево, а служившее ориентиром или символом. Об этом, в частности, свидетельствует татарская пословица *bilänçik başu biş tiräk, bilgitiñk tä il utyrt* (Исәнбэт, III, 71) 'Начало владений (?) — пять тополей, ставь знак (тат. *bilgi* ≈ общетюрк. *belgü* 'метка, памятник; знак владельца на границе земель в виде столба' и пр.) и сажай свой иль (общину)'. В татарской детской игре *aq tiräk* — *kük tiräk* играющие разделяются на две группы, называемые *aq tiräk* 'белый тополь' и *kük tiräk* 'зеленый (голубой) тополь'. Затем разыгрывают сцену сватовства и увода невесты у одной из групп⁵. Полную аналогию этой игре (с пением одних и тех же куплетов) представляет узбекская и киргизская игра *aq terek* — *kök terek*.

Татарская пословица *tirägiñ bulsa, tirägiñ buluŋ* (Исәнбэт, I, 527) 'Если у тебя есть *tiräk*, значит есть опора' и киргизская *tengerim bir žaasa, teregim eki žaajt* 'Если бог мой дождит раз, *terek* мой дождит дважды' говорят о том, что слово *terek* означало защитника или покровителя рода.

1.7. В значении рода чаще употребляется слово *bajterek* (кирг., алт., каз., ккалп.), *bajtiräk* (тат., башк.) 'осина, осокорь, тополь, родовое священное дерево'⁶. Это только фрагмент мифа о мировом дереве, вершина которого упирается в небо (точнее — в Полярную звезду), а корни уходят в подземное царство Эрлик-хана. Это дерево именуется по-разному: у сибирских татар *raj-julaŋ* 'baj- пихта', у хакасов *rajxazuŋ* 'baj- береза'⁷, у алтайцев и шорцев *raj-quzuq* 'baj- кедр', *raj-torŋum* 'baj- столбовидный идол' (ср. якут. *turu*, эвенк. *turu*, *turum*, *turuba* 'столбовидный идол'; 'шаманское дерево, вершиной касающееся неба', чув. *täŋä* 'вершина, верхушка дерева', тат. диал. *tüŋa* 'место поклонения на горе; город; огражденное место', тат. лит. *türataš* 'идол в виде каменного столба'). В некоторых случаях слово *baj*//*raj* заменяется словом *temir* 'железный': у алтайцев *temir terek* 'железное дерево (тополь)⁸. Однако основными вариантами остаются *bajterek* и *bajraç*, *bajaraç* (см. Будагов, I, 240; Маадай-Кара, 68—70).

1.8. Как известно, родовой герб у тюрко-монгольских народов состоял из четырех элементов: родового дерева, родового птицы, тамги и урана (боевого клича)⁹. Возможно, в связи с этим наряду с *baj* — деревом наличие и *baj* — птицы: общетюркское *bajquš* 'филин' (узб. *bojuqu*, тат. диал. *bajquzu* 'сыч' — реминисценции по народной этимологии), у алтайских тюрков *baj-čaŋal* (сагайск. *alty köstu raj-čaŋal* 'шестиглазый *baj-čaŋal*') 'часть шаманского бубна', 'личная птица шамана': слово *ča-*

⁵ «Татар халкының жыры-биюле уеннары». Казан, 1968, стр. 56.

⁶ См.: Э. Л. Львова, М. С. Урманова. Представление о мировом дереве в традиционной обрядности народов Саяно-Алтая. — «Этногенез...», стр. 178—181.

⁷ V. Dioszegi. How to become a shaman among the sagajs. — «Acta Orientalia», Budapest, t. XV, f. 1—2, 1962, стр. 87—96.

⁸ Алтайско-шорские слова взяты из статьи: Л. П. Поганов. К изучению шаманизма у народов Саяно-Алтайского нагорья. — «Филология и история монгольских народов». М., 1958, стр. 314—322.

⁹ См.: Н. А. Арстов. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей. — «Живая Старина», III—IV. СПб., 1896, стр. 286—290.

уа| в тюркских языках означает не только «шакал» и «лошадь шакальской масти»¹⁰, но и хищную птицу, см. тат. *šaɣaltaj* 'чеглок', каз., ккалп. *šaɣala* 'чайка' (русск. «чеглок» из тат. **šaɣalaq* *букв.* 'шакальчик'), кирг. *baɣkōböḱ* 'лунь' и т. п.

У шорцев бытует понятие шаманского духа — *baɣ-baɣaq* 'baɣ-летающая собака' (ср. кирг. и др.-тюрк. *baɣaq* 'лохматая охотничья собака', 'легендарная летающая собака')¹¹; у тувинцев *baɣ хонаʃ* 'божество родного очага' (Таубе, 322), у хакасов *baɣ sös* 'табуированная лексика' (или 'святыня рода').

1.9. Само слово *baɣ* в словах *baɣterek*, *baɣaɣaʃ*, *baɣšaɣal* и других означает, вероятно, не «богатый» (как обычно толкуется в трудах по этнографии), а восходит либо к тюрко-монгольским глаголам *baɣa-*, *baɣu-* 'перестать передвигаться, осесть на новом месте при кочевой жизни' (ср. кит. *baɣ* 'место'), либо кобшетьюркскому *baɣ* 'доля' (см. ниже). Ср. общетюркское *baɣu-* 'заходить (о солнце и луне)', то есть 'завершить суточное перемещение по небосклону', каз. *baɣaw* 'тихий, скромный' (Кирг. сл., 1903), сиб. тат. *paɣaw* 'остановка, замедление' (Тумашева, 176), абазин. (из кыпчакских языков) *байау* 'спокойствие, покой', кирг. *baɣaw žer* 'обширное пастбище' в стихе *baɣaw žerde mal barbu? elew žerde el barbu?* 'есть ли на обширных пастбищах скот? есть ли в пределах видимости народ?'¹², древнемонгольское *baɣudu* 'боевая позиция, дислокация войск на новой позиции'¹³. Иначе говоря, слово *baɣterek* могло означать дерево или столб в центре кочевых владений. Это дерево (и птица на нем) в народном сознании наделялось ореолом святости и приобретало гиперболическое значение (и размеры).

1.10. У оседлых народов Поволжья слово *baɣterek* (см. чув. *paɣtirik*, мар. *paɣterek*, *paɣtirik*) стало именем собственным, которое давали мальчику, если заведомо было известно, что именно он наследует отчий дом. В связи с этим этимологию слова *baɣterek* можно было бы возвести к татаро-башкирскому *baɣ* 'доля, пай, удел, удельное владение, отцовское наследство', туркм., крым.-тат., тур. *paɣ* 'пай, доля' (> русск. «пай», «паек»). Это слово, вероятно, также заимствовано из персидского: *bāh* 'доля, пай' [персидский *h* в тюркских языках переходил в *j*, см. тат. *bājā* 'цена, стоимость' из перс. *bāha*; тат., башк., ног. *bijälāj*, алт., уйг. *pälāj*, монг. *begelej*, калм. *beelee* и т. д. (Номинханов, 126) 'рукавицы, варежки' из перс. *bihla*, *bāhla*, чаг. *bāhla* 'перчатка или нагрудник сокольничего' (Радлов, Сл., IV, 1583), перс. *bāhlagi* 'надевший перчатку или кожаный нагрудник'].

Слово *baɣ*, *paɣ* широко употребляется в тюркских языках как компонент сложных слов, ср. башк. *baɣhūjäk* 'baɣ — кость, кость с мясом, которая подается каждому участнику пира' (Бһһ, II, 37), кирг. *baɣ* 'выигрыш' ~ каз., чаг. *baɣaɣaɣu* 'подарок главному лицу на свадьбе, пире', кирг. *baɣšesekej* 'первый цветок, который увидел человек в новом году', 'цветок счастья' (ср. тат. диал. *žimšäcäk id:* если увидел желтый цветок — к несчастью, если красный — к счастью и пр.). От *baɣ* 'доля' обра-

¹⁰ V. *Dioszegi*. Указ. раб.; Л. П. *Потапов*. К семантике названий шаманских бубнов у народностей Алтая. — «Советская тюркология», 1970, № 3.

¹¹ См.: К. Г. *Менгес*. Восточные элементы в «Слове о полку Игореве». М., 1979, стр. 123—124.

¹² См.: «Киргизско-русский словарь». М., 1966, стр. 122; Автор словаря И. К. Юдахин дает перевод: *baɣu* 'беспризорный'. Это не согласуется с нашими данными, ср. татарскую пословицу: *Dalaɣuɣu biji bulɣaɣu, baɣawɣuɣu qily bul* *букв.* 'Чем быть князем голой степи, будь рабом оседлости'.

¹³ P. *Poucha*. Die geheime Geschichte der Mongolen. Praha, 1956, стр. 127.

зованы также др.-тюрк., тат. и туркм. *bajuq* 'определенный, верный; предназначенный' (Валиди, II, 394; Мухамедова, 64), тат., башк. *bajuṁ, baj-uq, bajūrut* 'помолвленный по тюркскому обычаю в раннем детстве' (букв. 'суженый'); 'название пляски', башк. диал. *bajaqla-* 'определять, назначать' (Бһһ, II, 37), чув. *rajaḡ*, ног. *bajuḡ* 'собственный, предназначенный; назначенный' и т. д.

В понятии дерева, как известно, немало поэтического. Это способствовало тому, что слово *bajterek* получило широкое распространение в народной поэтике. Поэтому большой научный интерес представляют рефлексy отражения данного слова во всех тюркских языках.

2. Слово *bar, bars* 'барс' в составе композитов (*irbis, barlas, juraḡ* и др.).

2.1. Крупные животные семейства кошачьих, обитавшие в местах расселения тюрков, — тигры, леопарды, барсы и гепарды (а в глубокой древности, возможно, и львы) в представлении местного населения были опасными врагами, в меньшей степени являлись объектом охоты и символизировали сильного и бесстрашного воина. При этимологизации названий кошачьих, как нам представляется, необходимо учитывать все эти аспекты.

2.2. В тюркских языках наиболее широкое распространение из названий семейства кошачьих получило слово *bars* с фонетическими вариантами *bar, bars, byrs, bas; maḡ, mars, mas; paḡ, pars* и т. д., обозначающими «барс, тигр, гепард, рысь». Все эти слова обычно возводятся к перс. *pars* 'леопард, пантера' (Севорян, II, 68—70). Наряду с приведенными вариантами не менее часто употребляется слово *irbis, irbiz, irbič* 'ирбис, собственно барс' — крупное животное из семейства кошачьих, обитающее в горных областях. Показательно, что если слова *bars* и *bar* в большинстве случаев обозначают только животное, то слово *irbis* характерно для мифологии. И это не случайно: по всем данным *irbiz, irbič* — палатализованный вариант несохранившегося в тюркских языках **yḡbyrs, *yḷbyrs*, образованного, в свою очередь, в языках Алтае-Саянского нагорья от достаточно хорошо известного слова *alabars, albars* 'злой дух'; см. хак. *alabars* 'лев', кирг. *ilbirs* 'ирбис, снежный барс', сиб. тат. *ilbis* 'барс, тигр' (Гиганов), тув. *irbis* 'ирбис, горный барс' и пр. (Севорян, I, 346), тув., якут. *ilbis* 'Илбис, дух вражды и войны' (эвенк. *ilbis* 'лукавый; коварный'), якут. *ilbis qūha* 'богиня войны; дух насильственной смерти' (букв. 'дочь Илбиса'), шор. *ylyrs, тув., алт. albys, almys, якут., эвенк., бурят. albas, almas* 'злой дух огня; блуждающий огонь; люди, покрытые шерстью, якобы живущие в горах', крым.-тат., тур., кирг. *albarsy* 'демоническое существо в образе старухи, наносящей вред роженицам' (отсюда общетюркское *albasty, albasly* 'ночной кошмар, домовый, злой дух'¹⁴), кирг. *albars* 'рукоятка меча (с изображением хищников)', у алтайцев и шорцев *ala pars, ala mars* (точнее *altu köstü ala pars*) 'шестиглазый пестрый барс, злой дух, изображенный на шаманском бубне'¹⁵. Что касается слова *ala* 'пестрый' в данном словосочетании, то это, по всей вероятности, народно-этимологическое переосмысление иранского заимствования *āl* 'мать огня, злой дух' (ср. тадж. *modari āl* 'мать огня', туркм. *āl arwaḡ* 'дух покойника', крым.-тат. *al qarḡsy* 'дух

¹⁴ Р. Г. Ахметьянов. Некоторые чувашские этимологии по данным Н. И. Ашмарина. — В кн.: «Н. И. Ашмарин — основоположник чувашского языкознания». Чебоксары, 1970, стр. 148—151.

¹⁵ L. P. Polarov. Die Schamanentrommel bei den altaischen Völkern. — «Glaubenswelt und Folklore der sibirischen Völker». Budapest, 1963, стр. 230.

старухи al'), в мифологии — «злой дух, приносящий вред роженицам»¹⁶. Появление слова *irbiz*, *irbis* в наиболее ранних памятниках (IX—X века) свидетельствует лишь о древности самих тюркских языков, об устойчивости их фонетических особенностей и о разделении тюркских языков на современные ветви задолго до IX века. Уже само существование вариантов *irbiz* и *irbič* указывает на общий источник *ilbirs*, *ylburs* (-rs давало в одних диалектах *z*, в других — *č*). Таким образом, этимология *ilbis* < *irbis* < *albars*, указанная еще В. Бангом, подтверждается всеми известными фактами.

2.3. Древность композитов со словом *bar* можно проиллюстрировать и другими примерами.

Чаг. *barlas* (совр. узб. *barlos*) — название племени и рода и 'военачальник, предводитель' (Zenker, I, 161) *bärläs* 'герой-воин' (*Räsänen*, 63), тат. *Барлас* — имя собственное, в древности — один из знатных родов, из которых выбирался один из четырех *qaqaču* — выборщиков хана (в Казани, в Крыму и др.). Историки считают это слово заимствованием из монгольского. В монгольских языках и диалектах *barilas*, *barulas* — название племени, в которое иногда вкладывается значение «жирные» (от *baγu-* 'быть жирным').

Однако более вероятным представляется сравнение этого слова с якутским *barulas* 'орел' (ДСЯЯ, 60), так как названия племен нередко происходили от названий птиц, ср. монгольское племя *kirej* (*kireit*, *kegeit* и др.) от *kegej* 'ворон'. К тому же значения «храбрый воин», «военачальник» плохо ассоциируются со значением «жирный».

Якут. *barulas* 'орел, беркут', несомненно, происходит от слова *bar* 'барс, тигр', см. якут. *bar qyl* 'орел' (также *tojon qyl*) букв. 'барс-птица', *qyl* 'зверь, дичь; дикая птица', якут. диал. *bar qyl* 'барс, тигр' (ДСЯЯ, 59). Хотя формант *-ulas* остается неразгаданным (ни в тюркских, ни в монгольских языках нет ни такого аффикса, ни самостоятельного слова), этимологическая соотнесенность слов *barlas* и *bar* 'барс' практически не вызывает сомнений.

2.4. Перенесение значения слова *bar* на военные термины можно наблюдать и в следующих случаях: общетюркское (особенно кыпчакское) *tuɾaγ* 'боевой конь', букв. 'конь-барс' (ср. чаг. *tul* 'конь, снаряженный для боя', см. Радлов, Сл., III, 1465); монг. *erbar* 'муж, герой' от *er-bar* 'муж-тигр', 'герой, ездящий на тигре' (Номинханов, 183).

Эти данные еще раз подтверждают большую вероятность переходов значений: *bar* 'тигр, лев, барс' > 'орел' > 'герой' > 'военачальник' > название племени.

2.5. По-видимому, тат. *žufar*, *jufar*, чаг. *juɾaγ*, *juɾaγ*, каз. *žurap* (огубление перед губными согласными), чув. *jāraγ*, др.-тюрк. *juɾaγ*, *uɾaγ*, сиб. тат. *juɾaγ* 'мускус, благоволия; мускусные животные' — в казахском, татарском и в других кыпчакских языках 'выхухоль' — происходят также от композита с компонентом *bar*, а именно — от древнего *ju bar* 'благоволия рысь (кошка)'. В тюркских языках зафиксировано слово *y*, *ju*, *jūd*, *jūγ* 'благоволие; душистый запах; запах' (Радлов, Сл., I, 1407—1415, 1435, III, 494; Курышжанов, 129). В древности некоторые благоволия (мускус) получали из желез виверровых животных, внешне похожих на кошачьих (см. немецк. *Zibetkatze* 'виверра; циветта'). Этих животных со-

¹⁶ На наш взгляд, древнеближневосточное *almastu* 'злой дух в образе женщины' (см.: Г. А. Климов, Д. Н. Эдельман. К этимологии *Albasty//Almasty*. — «Советская тюркология», 1979, № 2) имело лишь контаминационное значение (см.: М. Н. Серебрякова. К характеристике духа *албасты* у турок и некоторые параллели в верованиях других народов. — «Этногенез...», стр. 174—177).

держали в клетках и называли «благовонными кошками (барсами, рысьями)».

В ногайском языке кошка называется *balmısuq* (по всей вероятности, от **barmısuq*), то есть барс-кошка. Такое повторение названий кошачьих, по-видимому, указывает на то, что узб. *muşuq*, *mişäk*, *pişäk*, *pişäj* (УХШЛ, 219), кирг. *muşuq*, каз., ккалп. *mısuq*, тат. диал. *mişäk* и т. д. 'кошка, кот' первоначально не означали кошку, а восходят к перс. *muşq*, *musq*, араб. *misk* 'мускус', 'мускусное животное, циветта'. Ногайское *barmısuq*, вероятно, сперва имело значение «виверра, циветта» и лишь впоследствии это название было перенесено на кошку. Можно даже предположить, что *balmısuq* заимствовано из персидско-таджикского *bar-i musq* 'барс мускусный'. Тогда тюркское *ju rag* 'мускусный барс' является точным переводом персидско-таджикского выражения.

О распространенности мускуса у кыпчакских народов говорит, например, следующий пример из эпоса сибирских татар:

... Ultyrın jiri jubarly,
Un barmay qunaly
Känikädä j tutajlar
Jylaj qalsa, ol jamaп (Радлов, Образцы, IV, 131—132).

'Плохо, если подобные принцессам [наши] девушки, распространяющие аромат мускуса там, где сидят, с десятью пальцами, окрашенными хной, плача останутся [беззащитными]'.

Перенесение в последующем названия циветты на выхухоль было связано с вытеснением циветты или виверры выхухолем (см. сиб. тат. *ju-rag suşqan* 'выхухоль', букв. 'мускусная, герп. циветтовая мышь', см. Будагов, II, 347). По прекращении промысла мускусных животных (после распада Золотой Орды) словом *ju-rag* стали обозначать диких выхухолей.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- Bhb* — «Башкорт һөйләштәренә һүзлегә». Тт. I—II. Фф, 1969, 1970.
Будагов — Л. Будагов. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. Тт. I—II. СПб., 1869—1871.
- Валиди* — Ж. Валиди. Татар теленәң тулы аңлатмалы сүзлегә. Тт. I—II. Казан, 1927—1929.
- Гиганов* — И. Гиганов. Словарь российско-татарский. СПб., 1804.
ДСЯЯ — «Диалектологический словарь якутского языка». М., 1976.
Исәнбәт — Н. Исәнбәт. Татар халык мәкаләләре. Тт. I—III. Казан, 1959—1969.
- Кирг. сл. 1903* — «Киргизско-русский словарь». Оренбург, 1903.
Курьшжанов — А. К. Курьшжанов. Исследование по лексике «Тюркско-арабского словаря». Алма-Ата, 1970.
- Маадай-Кара* — Маадай-Кара. Алтайский героический эпос. М., 1973.
Мухамедова — З. Б. Мухамедова. Исследование по истории туркменского языка XI—XIV вв. Ашхабад, 1973.
- Насыйри* — К. Насыйри. Ләһжәи татари. Т. I. Казан, 1894.
Номинханов — Ц. Д. Номинханов. Материалы к изучению истории калмыцкого языка. М., 1975.
- Радлов, Образцы* — В. В. Радлов. Образцы народной литературы тюркских племен. Т. IV. СПб., 1872.
- Радлов, Сл.* — В. В. Радлов. Опыт словаря тюркских наречий. Тт. I—IV. СПб., 1893—1911.
- Севортян* — Э. В. Севортян. Этимологический словарь тюркских языков. Тт. I—II. М., 1974, 1978.
- ТТДС* — «Татар теленәң диалектологик сүзлегә». Казан, 1969.
Тумашева — Д. Г. Тумашева. Көнбатыш Себер татарлары теле. Казан, 1961.

- УХШЛ* — «Ўзбек халк шевалари лугати». Тошкент, 1971.
- Фасмер* — М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Тт. I—IV. М., 1964—1973.
- Этногенез...* — «Этногенез и этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий» (тезисы конференции). Омск, 1979.
- Räsänen* — M. Räsänen. Versuch ejnes etymologischen Wörterbuch der Türksprachen. Helsinki, 1969.
- Taube* — E. Taube. Tuwinische Volksmärchen. Berlin, 1978.
- Zenker* — J. T. Zenker. Türkisch-arabisch-persisches Handwörterbuch. Tt. I—II. Leipzig, 1866—1876.
-

РЕЦЕНЗИИ

Х. Р. КУРБАТОВ. ТАТАРСКАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СТИЛИСТИКА И ПОЭТИКА

ИЗД-ВО «НАУКА», М., 1978, 218 стр.

Новая книга Х. Р. Курбатова — оригинальное исследование в области татарской лингвистической стилистики, к сожалению, пока единственное в тюркологии.

Объектом лингвистической стилистики и особенно поэтики являются те дополнительные (коннотативные) значения слов, грамматических и фонетических форм, которые возникают из основного значения слова в процессе его функционирования, в зависимости от той или иной речевой ситуации. Рассматривая в своей работе отдельные типы речи, Х. Р. Курбатов выясняет, какую общественную функцию они выполняют и при помощи каких языковых средств и речевых приемов образуются, а затем в соответствующих главах анализирует дополнительные значения языковых средств, связанные с той или иной речевой ситуацией как устной, так и письменной.

В предисловии Х. Р. Курбатов приводит употребляющийся в лингвистической стилистике термин «стиль языка», считая его неточным и очень условным, ибо автор полагает, что «стиля языка» не существует и объектом исследования может служить только «стиль речи», ибо «Словесное выражение мысли — есть явление речи, а язык — это тот материал, при помощи чего строится речь. Язык со своей лексикой, фонетикой и грамматикой есть принадлежность определенного народа, а формы речи — во многом общие для всех народов...» (стр. 14, см. также стр. 21). Здесь же приводится обзор основной специальной литературы (отечественной и зарубежной) по данному вопросу.

Первая глава книги посвящена рассмотрению разновидностей стилей речи.

Автор выделяет три основных стилистических типа речи: функциональный, экспрессивный и литературно-художественный. К функциональному стилю он относит разговорную речь (литературную, просторечье, диалекты) и письменные формы речи (деловые бумаги, научное изложение, публицистику). Х. Р. Курбатов анализирует наи-

более характерные лексические, грамматические и фонетические признаки и речевые приемы каждого из этих стилей. В то же время он отмечает разновидности стиля, не охваченные этой схемой классификации, такие, например, как научно-педагогический, научно-популярный стили, или связанный с прикладными знаниями стиль учебных пособий, в которых излагаются основы тех или иных профессий или ремесел, например: руководства по кулинарии, домоводству, пчеловодству и т. д., обобщающие опыт повседневной практики. Такие разновидности стиля, как возвышенно-патетическая, сниженно-уничтожительная или учтиво-вежливая, дружески-ласковая, беспристрастно-холодная, благосклонно-шутливая речь и другие речевые оттенки, определяемые обычно в литературе термином «стилевая окраска», Х. Р. Курбатов очень удачно, с нашей точки зрения, называет «экспрессивными стилями».

Все разновидности стилей автором подробно анализируются на интересном и богатом материале.

Центральное место в разделе «Литературно-художественная речь» занимает теория образности, ибо жизненность произведения искусства определяется мастерством художественного воплощения и правдивостью его образов. Способы создания художественных образов — «образа в слове и образа посредством слов» (стр. 57, выражение В. В. Виноградова) — прослеживаются на жанре народной песни. При изучении специфики образности в письменной литературе Х. Р. Курбатов применяет особый метод, названный им «структурно-линейным анализом» (стр. 44—69).

Во второй главе, посвященной лексической стилистике, лексика рассматривается с точки зрения ее дополнительной семантической окраски и способности стилеобразования. Специальный раздел посвящен полисемии и переносному значению слова, частично рассмотренному и в предыдущей главе, но в ином аспекте. Ссылаясь на работу Р. Бикмухаметова, автор отмечает,

что «... некоторые словесные образы (в том числе и слова-образы) одного народа неприемлемы в поэзии другого народа» (стр. 50). Так, например, распространенное в татарской и башкирской поэзии сравнение стройной девушки или парня с пивячкой (*сөллек бекек*) «может вызвать отвращение у читателя другого народа» (там же).

В третьей главе, посвященной грамматической стилистике, дается стилистическая характеристика таких грамматических категорий, как определенность и неопределенность, притяжательность и синонимия падежных форм у существительных, особые случаи выражения персональности местоимениями и глаголами, переносное значение наклонений глагола, переносное значение синтаксических конструкций, инверсия и обособление, синтаксические фигуры и период.

Последняя (четвертая) глава книги посвящена фонетической стилистике.

После краткой информации об особенностях «полного стиля» произношения автор впервые в татарском языкознании приводит фонетические парадигмы, выявляя особенности и «неполного стиля» произношения, характерного для повседневной литературной разговорной татарской речи.

Специальный раздел главы посвящен специфике сценического (драматического) произношения. Основное внимание уделено использованию мастерами художественного слова фонетических вариантов литературного произношения (а также просторечных и диалектных форм) в целях создания речевой характеристики действующих лиц в зависимости от сценического жанра произведения — драмы, трагедии, комедии.

Как известно, использование той или иной системы стихосложения зависит от особенностей фонетического строя языка. Учитывая эту закономерность и со всей тщательностью изучив характерные произведения татарской устной и письменной поэзии, Х. Р. Курбатов пришел к заключению, что татарское народное стихосложение — силлабическое. Он решительно отверг укоренившееся в литературе мнение о силлаботоническом строе татарского стиха. В книге приводятся наиболее употребительные размеры силлабического стиха с указанием места цезуры (словораздела). Отрезок речи между цезурами (или между цезурой и началом или концом строки) автор называет ритмической группой и дает краткое, но исчерпывающее объяснение месту и силе ударения в этой группе. «Каждая ритмическая группа имеет свое ударение ('). Это ударение вернее будет назвать тактовым (нельзя сказать фразовое ударение, так как ритмическая группа не всегда совпадает с фразой или синтагмой). Тактовое ударение (или иначе — ударение ритмической группы) может иметь большую или меньшую силу и находится на том или ином слоге в зависимости от содержания (при этом оно может смещать в себе и логическое ударе-

ние) и фонетико-грамматической структуры слова или слов, составляющих эту ритмическую группу. Если, например, ритмическая группа состоит из двух слов, то тактовое ударение приходится на последний слог первого слова (если только это слово не служебное, например, если не послелог и пр.); но если словесное ударение находится не на последнем, а на каком-либо предшествующем слоге, то тактовое ударение занимает место на этом слоге. А если в смысловом отношении самым важным оказывается какое-либо одно из двух или трех образующих ритмическую группу слов, то тактовое ударение вместе с логическим ударением падает на соответствующий слог (т. е. на словесный слог) этого слова. В ритмической группе, состоящей из одного слова, тактовое ударение находится там, где словесное ударение. В слове, несущем основное смысловое значение, тактовое ударение усиливается вдвойне» (стр. 154).

Квантитативное стихосложение *аруз*, получившее широкое распространение, начиная с периода средневековья и кончая двадцатыми годами XX века, Х. Р. Курбатов считает, вопреки мнению многих литературоведов (см. стр. 163), возникшим не самостоятельно, а под влиянием персидской и арабской поэзии. Автор показывает, каким образом это иноязычное стихосложение приспособилось к фонетике тюркских языков и какие основные его метры и формы строф вошли в практику классической татарской письменной поэзии. Особенно подробно рассматривается в исследовании *аруз* Тукая (стр. 168 и сл.), Такташа и Джалиля (стр. 178—190).

Автор проводит четкую грань между двумя видами говорного стиха — полиметрическим (вольным) и свободным (верлибр). Анализируя творчество разных поэтов, Х. Р. Курбатов доказывает, что полиметрический стих может основываться и на силлабике, и на принципе метрики *аруза*, тогда как свободный стих — дисметрический.

Далее автор останавливается на особенностях белого стиха, на развитии рифмы и аллитерации в татарской устной и письменной поэзии.

Рассматривая лингвистическую поэтику как часть стилистики (см. об этом стр. 5), Х. Р. Курбатов охватывает таким образом всю стилистическую систему современного татарского литературного языка и все основные формы речи (за исключением жанровых форм художественной литературы). Несмотря на отсутствие в работе самостоятельных глав, посвященных стилистическим особенностям прозы, драмы, отчасти и поэзии, при анализе языкового материала все эти жанры автором учитываются, так же как учитываются все стилеобразующие уровни языка (лексика, фразеология, морфология и фонетика).

Термины категорий стилистики и поэтики тщательно сверены; нередко, во избе-

жание различных толкований, они даются вместе со своими синонимами.

Стиль изложения, в зависимости от объекта исследования, иногда неожиданным образом меняется (см., например, раздел о поэтике народных песен), но при всем этом не утрачивается присущая работе точность.

Связь между главами и разделами книги органична, она подчинена логическому развитию мысли автора: анализ фактического материала и рассмотрение объекта иссле-

дования в различных аспектах завершаются научными выводами.

Рецензируемая работа свидетельствует о широкой эрудированности ее автора и выполнена на высоком научном уровне. Она имеет важное теоретическое и практическое значение, как нам кажется, не только для татарской филологии, но и для тюркологии в целом.

В. Х. Хаков

Г. Х. АХАТОВ. ТАТАРСКАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ
ИЗД-ВО БАШКИРСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА, УФА, 1977, 76 стр.

Г. Х. АХАТОВ. ТАТАРСКАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ.
СРЕДНИЙ ДИАЛЕКТ
(УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ)
ИЗД-ВО БАШКИРСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА, УФА, 1979, 80 стр.

Рецензируемая работа Г. Х. Ахатова состоит из двух выпусков. Первый из них включает «Введение» и разделы «История изучения татарских диалектов», «Диалектное членение татарского языка», «Диалект западносибирских татар». Второй выпуск посвящен среднему диалекту татарского языка. К нему приложены образцы диалектных текстов.

В современном татарском языке, как известно, различаются три диалекта: средний, диалект западносибирских татар и западный (или мишарский) диалект. Несмотря на характерные фонетические, грамматические и лексические особенности каждого из этих диалектов и расхождения их с литературным языком, они образуют целостное единство, их сближает важный ряд общих черт, отличающих татарский язык от других тюркских языков.

В разделе «Основные понятия и термины татарской диалектологии» первого выпуска автор дает определение терминов «диалект», «говор», «подговор», «диалектизм» и т. д. Говоря об историческом развитии диалектов, он исходит из основополагающих высказываний классиков марксизма-ленинизма о народной разговорной речи и диалектах и известного положения о том, что языки в своем развитии проходят три этапа: племенной язык, язык народности и национальный язык. Именно с этой точки зрения и рассматривается автором история формирования национального татарского языка.

Большое внимание уделяется в работе методике преподавания татарского языка в условиях функционирования диалектов.

В разделе «История изучения татарских диалектов» Г. Х. Ахатов дает краткий об-

зор изучения татарских диалектов в дореволюционный период.

Заслуживает внимания приведенный автором факт о том, что почти сто лет тому назад, в 1881 году, была опубликована весьма интересная работа А. Г. Бессонова «О говорах Казанского татарского наречия и об отношении его к ближайшим к нему наречиям и языкам» — первый труд, посвященный специальному изучению говоров татарского языка. Г. Х. Ахатов указывает, что научная заслуга А. Г. Бессонова прежде всего заключается в том, что он установил основные отличительные черты изученных им диалектов и говоров татарского языка, особенно в области фонетики, и впервые попытался их классифицировать.

В изучение татарских диалектов весомый вклад внесли в свое время также В. В. Радлов, Н. Ф. Катанов, С. Е. Малов, Е. Д. Поливанов и др.

Однако лишь после Октябрьской революции началось планомерное и систематическое изучение татарских диалектов, и диалектология стала неотъемлемой частью татарского языкознания. Автором дается довольно обстоятельный обзор работ по татарской диалектологии, изданных за годы Советской власти, рассматриваются методы собирания и обработки диалектологических материалов.

Г. Х. Ахатов описывает ареалы, а также фонетические, морфологические, синтаксические и лексические особенности основных татарских диалектов: среднего, мишарского и западносибирских татар.

Средний диалект характеризуется, как известно, джеканием: (*жал* — лит. *ял* 'отдых', *жук* — лит. *юк* 'нет' и т. п.). В этом диалекте наблюдается соответствие гласных

звуков *a—u—e*: *mäläsh* — лит. *miläsh* 'рябина', *äpi* — лит. *ipi* 'хлеб', *ire* — лит. *äre* 'крупный' и т. д. Особенностью этого диалекта является употребление удвоенных аффиксов принадлежности и направительного падежа: *бусысы* (*бусы* 'этот'), *миңарга* (*миңа* 'мне'), *атамарга* (*атама* 'моему отцу') и т. д. В среднем диалекте, по мнению автора, преобладает синтетический строй сложного предложения.

В мишарском диалекте можно наблюдать полную делябиализацию звуков *o* и *ö*: *тырмыш* (*тормыш* 'жизнь'), *кош* (*кош* 'птица'), *тетен* (*төтен* 'дым') и т. д.

Консонант *ç* в большинстве говоров переходит в *ç*: *пыщак* (*пычак* 'нож'), *цир* (*чир* 'болезнь'), *пеңән* (*печән* 'сено') и т. д.

Наиболее характерным признаком мишарского диалекта является йоканье. Вследствие этого в словах тюркского происхождения вместо литературного *ж* употребляется *й*: *йиләк* (*жиләк* 'ягода'), *йил* (*жил* 'ветер'), *йылы* (*жылы* 'теплый') и т. д.

С помощью формы на *-гы* (или на *-ма*) и вспомогательного глагола *кели* образуется форма желания: *калгым кели* (*каласым килә* 'мне хочется остаться'), *калма келим* (*калырга келим* 'я хочу остаться') и др.

Для диалекта западносибирских татар характерны следующие особенности: употребление глухих согласных звуков *п*, *т*, *ш*, *с*, *ç* вместо звонких *б*, *д*, *ж*, *з*, *ж*: *паш* (*баш* 'голова'), *турт* (*дурт* 'четыре'), *сур* (*зур* 'большой') и т. п.

Одним из основных фонетических признаков этого диалекта является цоканье: *чай* (*чэй* 'чай'), *киç* (*кич* 'вечер'), *цыцкыру* (*кычкыру* 'кричать') и др.

Наблюдается удвоение согласных: *олло* (*олы* 'большой'), *йыллы* (*жылы* 'теплый'), *оссон* (*озын* 'длинный') и т. д.

Третье лицо настоящего времени изъявительного наклонения выражается при помощи аффикса *-аты*: *параты* (*бара* 'идет') и др.

Форма повелительного наклонения во 2-м лице выражается в единственном числе при помощи аффиксов *-гын*, *-гыл*, а во множественном числе — аффиксом *-ың*: *паргын*, *паргыл* (*бар* 'иди'), *парың* (*барыгыз* 'идите') и т. д.

В предложении часто вводятся утвердительные частицы *куй*, *эу*: *Мин эу сиңа әйткән куй* (*Мин сиңа әйттем бит* 'Я же тебе сказал') и т. п.

Далее Г. Х. Ахатов подробно описывает диалект западносибирских татар, его формирование и особенности в области фонетической системы, аффиксального и аналитического словообразования.

Автор уделяет значительное внимание морфологическому строю диалекта западносибирских татар, отличающемуся своеобразием в употреблении падежных окончаний; в этом диалекте встречаются застывшие формы падежей как в отдельных словах, так и в составе фразеологических выражений. В нем существует отглагольное имя с ар-

хаическим аффиксом принадлежности *-кы*, *-ке*. Этот аффикс употребляется в сочетании с глаголом *кил* 'приходить', который ставится в 3-м лице настоящего времени.

Рассматриваются автором также особенности имен прилагательных, числительных, инфинитивных форм глагола. Им характеризуются особенности образования и употребления деепричастий и наречий.

В синтаксическом строе диалекта западносибирских татар в большинстве случаев вопросительные предложения оформляются одной интонацией, без вопросительных слов. По мнению автора, это явление отражает древнее состояние мелодики речи не только сибирских татар, но и вообще всех тюркских народов.

В языке носителей западносибирского диалекта наблюдается употребление сложного глагольного сказуемого: *Шал киталны миңә биреп пақы* (*Шул киталны миңа бирче* 'Дай-ка мне вон ту книгу'). *Куңам торатан кайтыпты иянте* (*Абыем шәһәрдән кайткан икән* 'Мой брат, оказывается, приехал из города') и др.

Характерно наличие безаффиксальной формы связи определения с определяемым словом: *тирәс төп* (*тәрәзә төбе* 'подоконник'), *ишек төп* (*ишек төбе* 'преддверье'), *ястык тыш* (*мендәр тышы* 'наволочка') и т. д.

Лексика диалекта западносибирских татар в работе представлена диалектными антонимами и омонимами. Приведены слова, сближающие диалект западносибирских татар с другими диалектами татарского языка. К числу слов, общих со словами родственных тюркских языков (казахский, каракалпакский, узбекский, кумыкский, башкирский и др.), относятся такие диалектизмы, как: *агаç* — *урман* 'лес' (каз. *орман*); *алга сау* — *тынысчыз* 'беспокойный' (ккалп. *тыншысыз*); *яркы* — *якты* 'свет' (каз. *жарык*); *кукнар* — *мәк* 'мак' (узб. *кукнор*, ккалп. *көкнар*) и др.

Приведены также примеры фразеологических выражений и заимствованных слов из русского, монгольского, персидского и других языков.

К лексике диалекта западносибирских татар автор относит слова, связанные с общественной жизнью и бытом, процессами и орудиями труда, явлениями природы и т. д.

К книге приложены диалектологические тексты с переводом на русский язык и список использованной литературы.

Вторая работа Г. Х. Ахатова «Татарская диалектология. Средний диалект» посвящена описанию среднего диалекта, считающегося опорным диалектом татарского литературного языка.

Автор приводит два высказывания одного из основоположников татарской диалектологии Л. З. Залаяетдинова (Л. Залая): «Средний диалект, носители которого живут в пределах Татарской, Башкирской, отчасти Марийской, Удмуртской и Чувашской АССР, а также Кировской, Куйбышевской, Пермской, Рязанской, Свердловской и Че-

лябинской областей, лежит в основе татарского национального языка»¹.

И второе: «Однако было бы ошибкой полагать, что современный татарский литературный язык может быть отождествлен со средним диалектом. Вовсе не так. Здесь речь идет лишь об опорном, концентрирующем диалекте в образовании татарского национального языка»².

Г. Х. Ахатов подчеркивает ведущую роль среднего диалекта и его говоров в формировании татарского национального языка.

Согласно классификации Л. З. Зялялетдинова, средний диалект имеет семь говоров: заказанский, мензелинский, нагорный, параньгинский, нукрат-кистемский, свердловско-пермский, касимовский³. Г. Х. Ахатов выделяет в среднем диалекте двенадцать говоров: заказанский, мензелинский, нагорный, барангинский, дюртюлинский, туймазинский, кигинский, бардымский, нукратский, камышлинский, касимовский говоры и говор крещеных татар. Автор приводит большой иллюстративный материал, характеризующий фонетические, грамматические и лексические особенности перечисленных говоров.

Если сравнить некоторые материалы говоров среднего диалекта татарского языка с данными диалектов и говоров каракалпакского общенародного разговорного языка, то можно обнаружить много общего между ними. Например, в мензелинском говоре среднего диалекта функционирует соответствие консонантов х—к: *жакшы* ('хорошо'), *катын* ('хатын' 'жена'), *трахтыр* ('трактор'), *хэйкэл* ('хэйкэл' 'памятник') и др.

Эти примеры можно сопоставить с данными северного (С) и южного (Ю) диалектов каракалпакского языка: С.Ю. *жақсы*//*йақшы*, *қатын*//*хатын*, *тырақтыр*//*тырахтыр*; Ю. *хэйкэл* и др.

В лексическом составе дюртюлинского говора среднего диалекта, распространенного в ряде районов Башкирской АССР, наблюдается употребление слов: *думбай* ('аңғыра' 'глупый'), *килбәтсез* ('уродливый, неприятный, некрасивый'), *жан кыйыу* ('жа-фәлану' 'мучиться') и др. В диалектах каракалпакского языка отмечены соответствующие компоненты указанных диалектизмов: С. *домбай*; Ю. *калбәтсиз*; С.Ю. *жан қыйыу*//*жан*//*йан қыйнау* и т. п.

Особенностью касимовского говора татарского языка, распространенного на территории Рязанской области, является джекание: *жыл* ('ел' 'год'), *жул* ('юл' 'дорога'), *жылау* ('елау' 'плакать'), *жыуату* ('юату' 'успокоить'), *жату* ('яту' 'ложиться') и т. д.

Указанная фонетическая закономерность наблюдается и в диалектах каракалпакского языка: С.Ю. *жыл*//*жыл*//*йыл*, *жол*//*жол*//*йол*, *жылау*//*жылау*//*йыглау*, *жубатуу*//*жубатуу*//*йубатуу*, *жатуу*//*жатуу*//*йатуу*. Все эти слова употребляются в значениях, адекватных со значениями слов касимовского говора.

К достоинствам работы следует отнести более точное и дифференцированное членение среднего диалекта на говоры и подробное описание фонетических, морфологических и лексических особенностей каждого из этих говоров.

Недостатком работы является то, что автор приводит слишком мало данных для сопоставления фактов диалектов и говоров татарского языка с родственными тюркскими языками.

Изложенный Г. Х. Ахатовым материал требует развернутого заключения и четких выводов по рассмотренным вопросам.

Для более наглядной иллюстрации фактов среднего диалекта было бы целесообразно привести в качестве приложения диалектологические тексты и словарь.

Указанные недочеты отнюдь не умаляют общего значения работы Г. Х. Ахатова, которая представляет несомненный интерес для всех диалектологов, исследующих тюркские диалекты и говоры.

У. Д. Доспанов

А. Х. ВАХИТОВ. БАШКИРСКИЙ СОВЕТСКИЙ РОМАН

ИЗД-ВО «НАУКА», М., 1978, 160 стр.

Книга А. Х. Вахитова — первое монографическое исследование, посвященное жанру романа в башкирской советской литературе. История башкирского романа начинается с 1925 года. Автор указывает, что жанр романа создавался на основе традиций башкирского литературного фольклора и имел три источника: произведения фольклора, шежере (родословная) и дореволюционная письменная литература. В этих источниках были заложены основные компоненты романной конструкции, а именно:

сюжетная композиция (произведения фольклора), фактологическая предметность (в шежере) и повествование (в письменной литературе).

Таким образом, башкирский советский роман возник на базе древней культуры башкирского народа. На формирование же его в послеоктябрьский период оказали положительное воздействие малые жанры молодой национальной прозы, а также литература братских народов — в первую очередь русского и татарского. Воздействие

выдающихся образцов многонациональной советской художественной литературы на развитие башкирского романа А. Х. Вахитов показывает на примере творчества ряда башкирских писателей: М. Гафури, Д. Юлтый и др.

Исследуя социально-политические факторы, обусловившие становление и развитие башкирского романа, А. Х. Вахитов раскрывает огромную роль культурной революции, охватившей в 20—30-е годы широкие народные массы. Важными этапами культурной революции стали завершение процесса формирования башкирского литературного языка и развитие книгоиздания и периодической печати. Башкирские прозаики, стремясь отразить в своих произведениях происходящие социально-политические и нравственно-психологические изменения, накопили достаточный творческий опыт для создания произведений такого масштабного жанра, как роман.

А. Х. Вахитов в своей монографии последовательно и поэтапно анализирует развитие башкирского советского романа, исследует его художественные особенности.

Первым произведением этого жанра в башкирской литературе стал роман «Поворот» Г. Хайри, написанный в 20-е годы. Последующее десятилетие было ознаменовано появлением романов А. Тагирова, Д. Юлтыя, И. Насыри, А. Хайбуллина, Ш. Шагара, С. Кудаша. По своим идейно-художественным особенностям и сюжету эти романы, как отмечает А. Х. Вахитов, могут быть разделены на три группы: историко-революционную («Солдаты», «Красногвардейцы», «Красноармейцы», «Кровь», «Кудей»), историческую («Сурагул», «Таинственная тропа») и современную («Кушайын»). Характеризуя общие черты, объединяющие данные произведения, автор пишет, что в них «историзм нередко подменяется... документальными, но частными фактами, и, естественно, это придает произведениям черты хроникальности, порой фактологического эмпиризма» (стр. 30).

Д. Юлтый первым из башкирских романистов сумел достичь значительных философских обобщений. Так, в романе «Кровь», изображая трагические события первой мировой войны, раскрывая образы простых людей, солдат-писатель обличает милитаризм, показывает его антигуманную сущность. Роман «Кудей» отличается живым языком, стройной композицией. В исторических романах «Сурагул», «Таинственная тропа» сюжет основан на фольклорных источниках и на исторических фактах.

Таким образом, уже в первое десятилетие своего существования башкирский роман обрел широкий тематический диапазон (история, революция, современность) и многообразие форм (роман-монолог, роман в стихах, роман-хроника и т. д.).

Автору монографии следовало бы подчеркнуть и мемуарный характер башкирских романов 30-х годов. В произведениях А. Тагирова, Д. Юлтыя, И. Насыри, С. Ку-

даша немало автобиографического материала, нередко приводящего к хроникальности. Эта тенденция присуща вообще тюркскому роману указанного периода. «Смешение» отображения объективной действительности и личных воспоминаний романиста можно видеть, например, в ряде татарских романов 30-х годов, в частности, в произведениях «Наши дни» Г. Ибрагимова, «На заре» Ш. Камала и др.

В годы Великой Отечественной войны для башкирской прозы были характерны главным образом малые жанры. В это время талантливый ученый и прозаик Джалиль Киекбаев начал работу над романом «Родные и знакомые». В нем через раскрытие судьбы жителей башкирской деревни в первые полтора десятилетия XX века показано классовое расслоение крестьянства, зарождение революционного самосознания у крестьян-бедняков. Писательской манере Дж. Киекбаева присущи неторопливость повествования, глубокий анализ человеческих отношений, пластичность и афористичность языка, широкое использование фольклорно-этнографических реалий. Творческое осмысление Дж. Киекбаевым лучших традиций национальной литературы, освоение им опыта русской, советской и мировой классики способствовали тому, что роман «Родные и знакомые» стал выдающимся явлением в башкирской литературе. Благодаря ему в дальнейшем были написаны такие произведения, как «Иргиз», «Униженные», «Золото собирается по крупичкам».

В послевоенные годы башкирский роман переживает пору подлинного расцвета. Появляются «Фундамент» С. Агиша, «Первые шаги» А. Валиева, «На склонах Нарыштау» К. Мэрзэна, «Путь Карасая» (вторая редакция — «Лебеди остаются на Урале») А. Бикчентаева, «Когда разливается Акселян» Б. Бикбая и др. Главная черта этих романов — обращение к современности. В произведениях «На склонах Нарыштау» и «Путь Карасая» раскрываются процессы индустриализации республики, становления башкирского рабочего класса и обогащения в связи с этим национального характера. Глубокие позитивные изменения в жизни башкирского народа, происшедшие в ходе социалистического строительства, правдиво отображены в романах «Фундамент», «Первые шаги» и «Когда разливается Акселян». В романе «Фундамент» один из его героев, Ташбулат, говорит: «... Дело, оно, конечно, всегда было в фундаменте, да и не только — моего дома, но и всей деревни, и не только деревни — в фундаменте всей жизни, в исчезновении одиночных хозяйств, в создании колхозов».

Исследуя послевоенный роман, А. Х. Вахитов исходит главным образом из особенностей его типизации. Типизация образов связана прежде всего с их проблематикой произведений в понимании писателей связывалась прежде всего с тем, что социалистическое отношение к труду пре-

образует характер человека, его быт и культуру.

При обобщении материала, на наш взгляд, А. Х. Вахитов не учел важный момент. Башкирский роман послевоенных лет, в отличие от романа 30-х годов, приобрел черты эпического повествования, в котором большую роль играют художественные средства. Пластическое и полнокровное изображение характеров и ситуаций — главное достижение башкирской романистики 40—50-х годов — восходила к традициям русского и всего многонационального советского, в частности тюркского, романа («Русский лес» Л. Леонова, «Абай» М. Ауэзова и др.).

Большая часть монографии посвящена анализу современного башкирского романа. В последние годы появились такие произведения, как «Майский дождь» и «Цветок шиповника» А. Валиева, «Щедрая земля», «Дорога Москвы», «Южное солнце» Д. Исламова, «Я не сулю тебе рая» А. Бикчентаева, трилогии З. Бишевой, Я. Хамматова, Ф. Исангулова, «Подснежник», «Дождь на новолуние», «Кинзя» Г. Ибрагимова, «Солдаты без погон» Х. Гиляжева, «Первый гром», «Вторая высота» И. Гизатуллина, «Люди дальних дорог», «Судьба желанная», «Вечный лес» Н. Мусина, «Годы возмужания» А. Байрамова, «Голубой шатер» Ш. Ялбаева и др. В них разрабатываются историческая, историко-революционная тематика, современность.

Башкирский роман, возникший всего несколько десятилетий назад, прошел сложный путь развития и становления. Формируясь под воздействием новой социалистической действительности, он правдиво отображал ее и, в свою очередь, оказывал на нее определенное эстетическое влияние.

В монографии глубоко прослежен этот процесс. Автор детально исследует все этапы развития романа, раскрывает творческую лабораторию писателей. Почти все главы монографии содержат интересный материал о башкирской прозе вообще.

А. Х. Вахитов отмечает, что в период формирования башкирского романа его эпический характер во многом был предопределен широким временным охватом событий. Но в дальнейшем появилась тенденция к уплотнению повествования. Так, в большом по объему романе «Солдаты без погон» Х. Гиляжева изображаются события всего одной недели, а почти половина книги посвящена событиям одних суток. Тем не менее на протяжении «этого романного времени» автор сумел показать судьбы более чем двух десятков героев» (стр. 114). Может быть, именно стремление к обстоятельному, панорамному показу жизни обусловило появление трилогии З. Бишевой, Я. Хамматова, Ф. Исангулова, где отражено множество параллельно развивающихся, философским осмыслением описываемого, с изображением глубинных явлений жизни.

Национальное своеобразие башкирского романа невозможно себе представить без учета новаторского развития в нем богатых традиций народной литературы. А. Х. Вахитов внимательно исследует новаторские черты в современной башкирской литературе, а также ее устойчивые тенденции. Национальное своеобразие романа видится ему также в мыслительной манере писателя, в специфических особенностях сюжетных ходов и композиций, в стилистической и ассоциативной структуре художественного языка, в деталях-предметах жизни и быта, в традиционных образах и т. д. При этом А. Х. Вахитов не стремится выделить какую-либо из этих черт как ведущую. И это правомерно, ибо эстетическое своеобразие каждого произведения складывается из совокупности всех составляющих его элементов. Национальное своеобразие романа — это прежде всего правдиво отраженные глубинные явления народной жизни.

Развитие жанра романа, как и других художественных литературных жанров, нельзя характеризовать формулой «от простого к сложному». В этом процессе много неожиданных поворотов, зигзагов и т. д. За последние два десятилетия, были переизданы романы, написанные еще в период 20—40-х годов. В их числе «Поворот» (1925) Г. Хайри, «Родные и знакомые» (1946) Дж. Киекбаева, вторая книга романа «Кровь» (1933) Д. Юлтыя. А. Х. Вахитов анализирует их, учитывая время их создания, что способствует научной объективности его суждений.

В рецензируемой работе имеются и некоторые упущения. Так, например, анализ развития романа в различные периоды иногда носит комплекстивный характер, не дает полного представления об эволюции этого жанра в башкирской литературе. На наш взгляд, к числу важнейших истоков развития жанра тюркского, в том числе и башкирского, романа относятся образцы восточной классической прозы. Однако этот вопрос остался вне поля зрения исследователя. В монографии А. Х. Вахитова значительное место уделено системному анализу жанрового стиля, а проблемы индивидуального стиля писателей, особенности их литературного мастерства освещены менее глубоко и эпизодически. Первая и третья главы монографии посвящены каждой анализу лишь одного романа («Поворот» Г. Хайри и «Родные и знакомые» Дж. Киекбаева), остальной объем глав занимает исследование малых жанров прозы.

В целом монография А. Х. Вахитова рассчитана не только на специалистов-литературоведов, но и на читателей, интересующихся башкирской литературой.

*Р. Г. Азнагулов,
Т. А. Кильмухаметов*

М. А. УСМАНОВ. ЖАЛОВАННЫЕ АКТЫ ДЖУЧИЕВА УЛУСА XIV—XVI ВЕКОВ

ИЗД-ВО КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 1979, 318 стр.

Монография М. А. Усманова «Жалованные акты Джучиева Улуса XIV—XVI веков» охватывает проблемы археографии, палеографии, сфрагистики и дипломатики. Автором исследования опубликован ряд работ о новонайденных ярлыках ханств Джучиева Улуса XIV—XVI веков, официальных актах ханств Восточной Европы XIV—XVI веков, языковых особенностях надписи из Нового Сарая, татарских исторических источниках XVII—XVIII веков, а также по классификации официальных актов ханств Джучиева Улуса¹, о термине «ярлык» и т. д. Рецензируемая монография является итогом многолетних научных изысканий автора в этих областях.

В разделе, посвященном археографии, впервые дано специальное описание всех тюркоязычных актов и жалованных ярлыков Джучиева Улуса, сохранившихся в подлинниках.

Раздел археографии включает следующие главы: 1. Основные коллекции ярлыков в СССР; 2. Описание жалованных ярлыков; 3. Спорные вопросы подлинности атрибуции и датировки некоторых актов; 4. О количественном соотношении сохранившихся ярлыков по регионам.

По сообщению автора, и ранее известные, и недавно выявленные им самим ярлыки хранятся в Ленинградском отделении Института востоковедения Академии наук СССР (ЛО ИВАН СССР), а также в библиотеке Ленинградского государственного университета им. С. М. Кирова, Государственном музее в Казани, ЦГАДА, краевом архиве Симферополя, Центральной научной библиотеке Академии наук УССР. В ЛО ИВАН СССР хранятся 22 документа, из них 17 подлинников, один в аутентичной заготовке и 5 в копиях. Из этих документов опубликованы в тюркоязычном оригинале с переводом на русский язык лишь 2 ярлыка, 6 жалований имеют переводы; в канцелярских переводах изданы тексты двух актов. Таким образом, тексты 12 ярлыков до сих пор остаются неизвестными науке. В архиве востоковедов ИВАН СССР хранятся копии сургального жалования Сахиб-Гирая и тарханний ярлык Газы-Гирая II. В архиве Ленинградского государственного университета хранятся три рукописных сборника, содержащих копии и переводы 40 жалованных актов крымских ханов, относящихся к XIV—XVIII векам. М. А. Усманов дает полную характеристику актов, содержащихся в двух первых сборниках, и сообщает, что копии 13 ярлыков имеют значение

оригинала. Тексты четырех из них до сих пор не публиковались.

В Казани хранится подлинник тарханного ярлыка Сахиб-Гирая 1523 года, а в ЦГАДА — копия тарханного ярлыка казанского хана Ибрагима (1467—1479) с приблизительным переводом. В фондах Симферополя автор обнаружил тексты четырех ярлыков Сахиб-Гирая, двух жалований Даулат-Гирая I, пяти актов Мухаммад-Гирая II, одного жалования Ислам-Гирая II и трех ярлыков Газы-Гирая II. Из выявленных исследователем ярлыков, относящихся к XVI веку, пять являются подлинниками. Из этих 15 документов до сих пор были известны в приблизительных переводах лишь пять.

В Киеве хранятся подлинники трех ярлыков: Менгли-Гирая, Мухаммад-Гирая I и Мухаммад-Гирая II, из которых в неполноценной копии опубликован только первый. Некоторые ярлыки, хранившиеся в Одессе, были утрачены во время Великой Отечественной войны.

Ярлык ярлыков находится в зарубежных хранилищах. Два ярлыка Тимур-Кутлуга хранятся в Вене, а ярлык Хаджи-Герая — в Стамбуле. По утверждению автора, общее количество всех известных ныне жалованных актов ханств Джучиева Улуса XIV—XVI веков составляет 61.

Во второй главе рецензируемой работы в хронологическом порядке подробно описываются все эти жалованные ярлыки. Ярлык Тохтамыша был жалован в период пребывания Орды на Дону в «год Обезьяны». Ярлык Тимур-Кутлуга, хранящийся в Вене, написан уйгурским и арабским письмом.

Ярлыки в основном подписаны в Бахчисарае, но имеются и подписанные в Алма-Сарае (по-видимому, на берегу реки Альма, там, где она втекает в Черное море), Сагыр-Сарае, в некоторых юртах беков. На двух ярлыках указан город Крым; по одному ярлыку подписано в Шамахе в Аджаме, и в Фарахе, в Кырык-Ере. Ярлык Ибрагима Гульбустан хатуну подписан в Казанском Кремле. Все ярлыки, помимо одного, написаны арабской графикой, почерки — *сульс*, *наш* и *дивани*. Датированы они обычно по летосчислению хиджры, но иногда используется и тюркский календарь. Представляют интерес слова типа *бахши*, *аталык*, *даруга*, прибавленные к именам получателей ярлыков.

Из общего количества 61 лишь 8 документов опубликованы в оригинале и переводе, 7 — в оригинале или в приблизительном переводе, 18 — в устаревших переводах, о существовании четырех было известно только по описаниям или аннотациям. Остальные 24 впервые обнаружены М. А. Усмановым.

¹ Под «Джучиевым Улусом» автор имеет в виду Золотую Орду в широком толковании этого понятия, то есть всю территорию империи Бату, Тохтамыша и отколовшихся от нее ханств.

В четвертой главе книги анализируются подлинность актов и датировка некоторых ярлыков. Документальное определение подлинности и исторической достоверности актов является одним из наиболее сложных вопросов историографии. Автор, опираясь на труды В. В. Радлова, А. Н. Самойловича, А. П. Григорьева, И. Н. Березина, С. Е. Малова и некоторых турецких ученых, изучавших эти ярлыки, детально исследует тамги, формуляры, уточняет прочтения, орфографию, сопоставляет датировку по хиджре с тюркским календарем. М. А. Усманов убедительно доказывает подлинность восьми тарханных и договорных ярлыков, сюрреальных жалований.

Данная глава носит историографический характер. Автор стремится выяснить, почему от Золотой Орды и Казанского ханства в тюркских оригиналах дошли до нас всего пять документов, в то время как от Крымского ханства их сохранилось 56. По языку и формуляру существенных различий между крымскими ярлыками и ярлыками золотоордынскими, казанскими нет. Поэтому сохранившиеся разнохарактерные ярлыки XIV—XVI веков (31 подлинник, одна заготовка, 4 ранних и 25 поздних копий) представляют значительный научный интерес.

В разделе палеографии привлекают внимание главы о языке, письменности, об основных почерках арабского письма, употреблявшихся в рассматриваемых ярлыках. Автор анализирует ряд проблем, в том числе языковую ситуацию и особенности делового языка на различных исторических этапах.

Многие вопросы письменной культуры Джучиева Улуса до сих пор остаются спорными. Это, в частности, касается языковой ситуации, особенно общегосударственного официального языка в разные периоды.

Как правильно отмечает М. А. Усманов, вопрос об этнической принадлежности делового языка до сих пор еще не разрешен. Некоторые исследователи утверждали, что монгольский язык был основным официальным дипломатическим языком не только на этапе формирования Улуса, но даже в середине XIV века при Джанибеке и что переписка Улуса с султанами мамлюкского Египта велась на монгольском языке. Однако именно в ту эпоху и в Джучиевом Улусе, и в мамлюкском Египте высокого уровня достигло развитие различных жанров тюркоязычной литературы. Общеизвестно, что правители мамлюкского Египта были не монголами, а выходцами из Джучиева Улуса, тюрками-кыпчаками и не знали монгольского языка. Кроме того, как справедливо подчеркивает М. А. Усманов, все нарративные и актовые документы, составленные даже в начальный период истории Улуса, написаны на тюрки. Не сохранилось ни одного золотоордынского официального акта, адресованного монгольским правителям, который был бы написан на монгольском языке. М. А. Усманов справедливо утверждает,

что упомянутое ошибочное мнение сложилось в результате неправильного чтения и перевода текстов арабских авторов: слово *бил-мугули* 'монгольский' относится не только к языку, но и к письму. Арабские авторы писали: *бил-хатти аль-мугули* 'на монгольской письменности'. Известно, что монголы еще на собственной территории пользовались уйгурским письмом. Поэтому в данном случае, по мнению автора монографии, речь идет об уйгурском письме, которое впоследствии получило название монгольского. В подтверждение сказанного М. А. Усманов приводит следующее место из сообщенный арабских историков: *ахадхума бил-араби, валахири билисани альгур...* 'одно из них написано по-арабски, а другое (последнее) на алгур...' Автор уточняет последнее слово и читает его как *бил-уйгур*, то есть 'по-уйгурски'. Известно также что Джучиев Улус лишь по династическим признакам был монгольским, а этнически и по характеру культуры — тюркским. В государственных канцеляриях работали и уйгурские бахши, писавшие древнеуйгурской графикой на тюркском языке. Таким образом, автор, опираясь на многочисленные исторические источники, убедительно доказывает, что из-за отсутствия в Дашти-Кыпчаке монгольской этно-культурной и общественной почвы монгольский язык в ранний период истории Улуса использовался лишь военно-феодальной верхушкой, а к середине XIV века уже и господствующий класс принял тюркский язык, ставший общегосударственным официальным языком.

В данной главе автор затрагивает вопрос и о литературном языке Улуса вообще. Он с достаточным основанием считает, что в Джучиевом Улусе еще в середине XIII века оформился самостоятельный тюркский литературный язык на базе уйгурско-караханидской литературной традиции и местных кыпчакских и огузских диалектов. При этом М. А. Усманов ссылается на мнение А. Н. Самойловича, который не считал язык хикматов А. Есеви, «Кысас» Рабгузи, «Мухаббат-наме» Хорезми чагатайским. Эти памятники, по мнению А. Н. Самойловича, свидетельствуют о том, что в XIV веке в Улусе был распространен местный тюркский литературный язык с особенностями золотоордынских диалектов, значительно отличавшийся от чагатайского. В. Г. Гузев, ссылаясь на Экмана, утверждает, что официальные указы Улуса писались, как правило, на среднеазиатском тюркском языке. М. А. Усманов вносит поправку в утверждение В. Г. Гузева и отмечает, что у Экмана назван не среднеазиатский, а хорезмийский язык. Хорезм же в ту эпоху входил в состав Джучиева Улуса и был одним из его культурных центров. Автор, ссылаясь на А. Н. Самойловича, считает, что в это время чагатайский язык в Чагатайском Улусе переживал период становления; не известен ни один крупный литературный памятник чагатайского языка, относящийся к этой эпохе. Следовательно, чагатайский

язык не мог тогда проникать в другие тюркоязычные регионы.

Исходя из высказываний А. Н. Кононова, автор утверждает, что в указанный период происходил обратный процесс. А. Н. Кононов еще в 1963 году писал: «Литературный язык Караханидского государства и возникший на базе его литературный язык Джучиева Улуса... стали основой, на которой развивался и совершенствовался чагатайский язык». Поэтому М. А. Усманов прав, когда утверждает, что влияние чагатайского языка на другие тюркские языки распространилось в более поздний период.

Автор монографии указывает, что язык официальных документов в Крымском ханстве вначале оставался джучидо-кыпчакским, в дальнейшем же кыпчакское влияние усилилось. До установления турецкого протектората на этом языке писались в Крымском ханстве не только ярлыки для подданных ханства, но и адресованные русским князьям, польско-литовским королям, даже турецким султанам в Стамбул. После установления турецкого протектората язык ярлыков, направлявшихся турецким султанам, постепенно отучерчивался. На стыке же XVI—XVII веков все делопроизводство уже велось на турецком языке.

М. А. Усманов пишет, что в Джучиевом Улусе долгое время параллельно сосуществовали арабское и уйгурское письмо. Однако, несмотря на официальное положение уйгурской графики, она не могла вытеснить арабскую, которая в ряде стран, входивших в Улус, стала единственной общеупотребительной. Текстологический анализ русских переводов ханских ярлыков, адресованных русским митрополитам, по мнению автора, позволяет сделать вывод, что в значительной своей части они были составлены на тюркском языке и написаны уйгурским письмом. Арабский автор аль-Умари утверждал, что даже послания мамлюкских султанов Египта Дашти-Кыпчакским ханам большей частью писались уйгурским письмом. На территории самого Улуса уйгурское письмо было меньше распространено, а к концу XIV века, по-видимому, окончательно было вытеснено арабским письмом.

Автор монографии большое внимание уделяет изучению почерков арабского письма ярлыков Улуса. Основными почерками арабского письма внутреннего делопроизводства в ханствах Джучиева Улуса были *сульс* и *дивани*. Из 32 оригинальных документов 9 оказались написанными *сульсом* и 22 — *дивани*, который является наиболее сложным, но и очень красивым почерком; только один документ написан почерком *насталик*. *Сульсом* написаны более ранние по времени ярлыки. С середины XVI века преобладает почерк *дивани*. По-видимому, это явилось следствием усиливающегося турецкого влияния в делопроизводстве. Почерком *дивани* составлялись официальные акты и в канцеляриях мамлюков. Это подтверждает и свидетельство арабского ученого аль-Кашанди.

Писец в ярлыках назван монгольским словом *бахши*, которым первоначально именовались буддийские духовные лица. В дальнейшем это слово стало означать вообще канцелярского чиновника-писца. В Джучиевом Улусе *бахши* в основном были уйгурами. В Крыму в XV—XVI веках это слово заменяется арабскими словами *хафиз* и *катиб*. Встречаются случаи параллельного употребления слов *катиб* и *бахши*; например, *катиб ул-катайб Муртаза бахши* «главный писец Муртаза бахши».

Хотя первые образцы квадратных тамг и перстневых печатей джучидов были опубликованы еще в XIX веке, сфрагистика до сих пор остается одной из наименее исследованных областей тюркского актового источниковедения. Поэтому, естественно, автор монографии этому вопросу уделяет особенно серьезное внимание. Он дает полную характеристику всех удостоверительных знаков, перстневых печатей, квадратных тамг, гербов. Здесь же помещаются им фотокопии удостоверительных знаков. Легенды, то есть надписи квадратных тамг, выполненные арабским письмом *куфи*, автором расшифрованы и тексты приведены в удачно составленных таблицах в арабской графике.

М. А. Усманов впервые в советском ярлыковедении поднимает перечисленные вопросы и дает всестороннее описание обнаруженных им удостоверительных знаков, раскрывая их содержание. Материалы этого раздела монографии представляют собой полезный источник изучения вопросов, связанных не только с ярлыками, но и с историей общественно-политической жизни Улуса.

Дипломатика тюрко-татарских жалованных ярлыков является молодой областью ярлыковедения. Этот вопрос до М. А. Усманова частично был затронут в трудах турецкого автора А. И. Курата и А. Н. Самойловича, а в последнее время получил развитие в работах А. П. Григорьева, где рассматриваются конкретные формуляры большей части жалованных ярлыков чингизидов и незначительное число ярлыков золотоордынских ханов. Автор же рецензируемого исследования подвергает анализу все известные нам оригиналы жалованных ярлыков джучидов. В этой части своего исследования М. А. Усманов кратко характеризует основные статьи, обороты и формулы языка ярлыков с выявлением их общих типов и, соответственно, классифицирует официальные акты Джучиева Улуса в целом. Он описывает и другие разновидности актов, например, *битики* (послания). Для историков языка в данном разделе представляют интерес многие слова и термины, употреблявшиеся в этот период в Улусе. Таковы, например, *қалға* 'соправитель', *султан* здесь 'царевич'. Автор указывает, что ханы и *калга* в Улусе избирались из числа султанов-чингизидов, беки-правители — из числа мирз. Из среды беков выходили высшие сановники *қарақы*, *дуваны* (*диван беги*). Представляют интерес термины *оглань*

правого крыла (командующий правым флангом), *огланы левого крыла* (командующий левым флангом); *даруга-беки* (менее родовитые по происхождению правители). Даруга у джучидов не только правитель туменов и городов, но и селений. Это, в отличие от титула бека, лишь гражданский чин. Далее *йамчы-сусунчы* (ямские и кормовщики), *қараул — чағдаул* (караулы и ведеты), *ақта — сұбаши* (конюшие и предводители войск). В Джучиевом Улусе в качестве синонимичных военно-политических терминов употреблялись также парные слова *буқаул-тутқаул*, *буқаул-чири*, *йасаул-буқаул*, *қараул-тутқаул*. Редко встречаются термины *анбарчы* 'амбарщик' и *ишик чурасы* 'привратник'. Далее идут термины *тамғачы—тартнақы* 'таможенники' *қушчы—барсчы* 'сокольник, поводыри барсов', *кемачи—қобруйкчи* 'ладейщики', 'мостовщики', *диван битқачи* 'писец дивана, делопроизводитель ханской канцелярии', *тамғачы—тартнақы* 'хранитель печати', *илчи—йулау-чи* 'послы и посланцы', *йасақ—қалан* 'всеобщий налог', *тамға тартнақ* 'пошлина с торговли, таможенная пошлина', *хараж—харажат* 'поземельная или подушная подать', *сусун—улфа* 'провиант и фураж'², *улаг—илмак* 'подводы—верховые', *қонақ—түйсін* 'гость, постой', *қонуш—қолтқа* 'запрашиваемые дары', *борла тамғасы* 'пошлина от продажи вина', *баж* 'таможенный сбор', *тутун харажы* 'подать с дома', *сала харажы* или *йер хабласы* 'подать с обрабатываемой земли', *индир ҳақы* 'плата за гумно', *чарик ауы* 'охотничья облава' и т. д. И в лексическом плане материалы этого раздела весьма ценны.

В заключительной главе монографии автор исследует значение термина *йырлық* и дает хорошо разработанную классификацию. По его определению, применительно к джучидским официальным документам, ярлыками следует называть не все выданные ханом документы, а лишь высочайшие повеления, указы, приказы. М. А. Усманов классифицирует ярлыки Улуса следующим образом:

1. Собственно ярлыки — это жалованные грамоты, предписания подданным, указа-

зы, в том числе подданным вассальных стран;

2. Ярлыки-послания — адресованные государям-вассалам;

3. Послания, письма — предназначенные правителям равноправных, независимых стран и более могущественным монархам;

4. Договоры и шертные грамоты — заключенные между главами различных стран, как равноправные, так и неравноправные.

Собственно ярлыки в свою очередь делятся на: а) тарханские ярлыки, б) сургальские ярлыки, в) тарханно-сургальские ярлыки, г) судебно-сургальские ярлыки, д) льготные ярлыки, е) служилые ярлыки, ж) охранные ярлыки и з) ареидные ярлыки.

Актовые источники, как известно, являются наиболее достоверными и надежными документами при анализе различных сторон общественно-политической истории страны и народа. Поэтому исследование М. А. Усманова, содержащее богатый фактический материал, несомненно, внесет необходимую ясность в изучение истории Джучиева Улуса. Изученные автором дипломатические послания правителей казанского и крымского государств позволяют проследить их связи с другими странами. Ценность исследования М. А. Усманова тем более велика, что ярлыки Джучиева Улуса до сих пор изучались разрозненно, без необходимого текстологического анализа. Ханские ярлыки в основном рассматривались лишь с точки зрения языка. Монография М. А. Усманова должна быть признана первым полноценным исследованием, охватывающим все стороны ярлыковедения. При этом необходимо учесть, что до сих пор ученые располагали лишь восемью документами. М. А. Усманов же вводит в научный обиход 61 документ, причем 47 из этого числа — новые, никем до него не исследованные документы.

Читатель теперь ждет от М. А. Усманова публикации изученных им документов в оригинале, с транскрипцией, переводом, с соответствующими комментариями и словарем. И тогда научная общественность получит полноценный атлас ярлыков Джучиева Улуса.

² *Сусун* в исторических памятниках 'вино'; возможно, здесь описка.

Э. Н. Наджип

PERSONALIA

ХОДЖАМУРАД БАЙЛИЕВ

(К семидесятипятилетию со дня рождения)



Исполнилось семьдесят пять лет со дня рождения заслуженного деятеля науки Туркменской ССР, кандидата филологических наук, доцента Ходжамурада Байлиева, чья научная деятельность была неразрывно связана с развитием туркменского языкознания в 30—40-е годы.

Х. Байлиев родился 5 сентября 1905 года в ауле Мюлкбурказ № 2 Марыйского района в семье земледельца-бедняка. В 1914 году он поступил в джадидскую (религиозную) школу в своем ауле, а затем учился в русско-туземном училище города Мары.

После Октябрьской революции Х. Байлиев получает неполное среднее образование в туркменской школе имени Кемине и в 1921 году поступает в городе Мары в Туркменский институт просвещения (педучили-

ще). В 1923 году в связи с переводом института просвещения в Ташкент продолжает свою учебу там. По окончании института в 1925 году Х. Байлиев работает учителем начальной школы в городе Красноводске, а затем райуполномоченным по народному образованию в Тахтабазарском районе. С 1926 по 1927 год — он учитель туркменского языка в русской школе 1-й степени имени Кольцова в городе Мары. В сентябре 1927 года Х. Байлиев поступает в Среднеазиатский госуниверситет (город Ташкент) на этнолого-лингвистическое отделение востфака. В октябре 1929 года домашние обстоятельства вынуждают его оставить учебу, чтобы материально поддержать семью. С октября 1929 по февраль 1931 года Х. Байлиев работает в Ашхабадском мужском педтехникуме преподавателем туркменского языка¹.

В 1931 году в Ашхабаде создается педагогический институт, куда Х. Байлиев приглашается на работу в качестве ассистента кафедры туркменского языка и литературы. С этого момента начинается научно-педагогическая деятельность Х. Байлиева. В 1935 году Х. Байлиев утверждается в звании доцента. С 1936 года он работает старшим научным сотрудником в Научно-исследовательском институте истории, языка и литературы, а с 1939 года заведует сектором языка, выполняя обязанности профессора. С 1941 года Х. Байлиев назначается директором Института истории, языка и литературы Туркменского филиала Академии наук СССР. С апреля 1944 года и до конца своей жизни (1946) Х. Байлиев за-

¹ Биографические данные о Х. Байлиеве приводятся по автобиографии, написанной им 25 декабря 1940 года и по личному листку по учету кадров, заполненному 9 февраля 1945 года (Архив Президиума АН Туркменской ССР, личное дело № 49, фонд I).

нимает должность заместителя председателя Президиума Туркменского филиала Академии наук СССР. В 1943 году Х. Байлиеву присваивается ученое звание старшего научного сотрудника.

С 1931 по 1934 год Х. Байлиев один, а также в соавторстве с другими языковедами написал и издал восемь учебников по родному языку для разных классов общеобразовательных школ и для средних специальных учебных заведений. Работу по созданию учебников Х. Байлиев вел и в последующие годы. Большинство из них несколько раз переиздавалось и сыграло важную роль в повышении грамотности населения республики. Учебник Х. Байлиева «Грамматика. Часть I. Морфология» (соавтор Г. Сопиев), написанный в 1934 году, переиздавался вплоть до 1946 года. Учебник по синтаксису туркменского языка, созданный в соавторстве с П. Азимовым в 1939 году, выдержал тридцать два издания и до сих пор продолжает оставаться стабильным учебным пособием для 7—8-х классов средних школ. А. П. Поцелуевский в предисловии к своей книге «Основы синтаксиса туркменского литературного языка» в 1943 году писал: «Синтаксис туркменского языка представляет собой мало разработанную область. За исключением нескольких учебников для средней школы (лучшим из них является синтаксис Х. М. Байлиева и П. Азимова), нет ни одной печатной работы, специально посвященной данному вопросу». Х. Байлиев (в соавторстве) создал ряд учебников по туркменскому языку для русских школ. Х. Байлиев принимал также активное участие в разработке программ по туркменскому языку для туркменских и русских школ, педрабфаков, курсов ответработников госучреждений ТССР, факультета языка и литературы педагогического института, а также по методике преподавания туркменского языка.

«Краткий курс грамматики современного туркменского языка» Х. Байлиева впервые был издан (стеклограф.) в 1940 году. В дальнейшем эта работа была полностью переработана автором и в 1945 году вновь подготовлена к печати. Безвременная смерть оставила нереализованными многие замыслы ученого². «Краткий курс грамматики современного туркменского языка» Х. Байлиева вышел в свет лишь в 1948 году и до начала 60-х годов являлся единственным полноценным пособием по морфологии туркменского языка для студентов-филологов и учителей.

Х. Байлиевым впервые создана методика преподавания туркменского языка. До по-

следних своих дней он, не жалея сил и энергии, занимался разработкой этой методики для подготовки квалифицированных учителей-филологов.

Большие заслуги принадлежат Х. Байлиеву в деле разработки нового туркменского алфавита на русской графической основе, а также правил орфографии современного туркменского литературного языка. Первый лингвистический съезд Туркменистана (май 1936 года) поручил Научно-исследовательскому институту языка и литературы откорректировать правила орфографии на основе данных всех туркменских диалектов. В газете «Совет Туркменистаны» в январе 1938 года были напечатаны разработанные Х. Байлиевым³ добавления к резолюции съезда по орфографии, уточнявшие многие положения о правилах правописания. В дальнейшем Х. Байлиев продолжал работу над совершенствованием орфографии туркменского литературного языка, основываясь на фонетико-морфологическом принципе.

В 1942 году Х. Байлиев успешно защитил в Московском госуниверситете им. М. В. Ломоносова (некоторые факультеты которого в период войны находились в Ашхабаде) кандидатскую диссертацию «Сложные глаголы в туркменском языке и их семантические особенности». В том же 1942 году была напечатана статья ученого «Семантика форм *дийип* и *диен*», в которой рассматривался вопрос о передаче косвенной речи в туркменском языке. В 1944 году была опубликована еще одна его работа — «Сложные глаголы в туркменском языке», ставшая впоследствии разделом академической «Грамматики туркменского языка», изданной в 1970 году на русском языке издательством «Блэм». С 1932 года Х. Байлиев работал в составе терминологической комиссии республики. Он был одним из составителей «Туркменско-русского словаря» (1940) и первого «Орфографического словаря» (1947). Х. Байлиев вел также активную редакторскую работу.

Будучи директором Института истории, языка и литературы и заместителем председателя Президиума Туркменского филиала Академии наук СССР, Х. Байлиев проявил себя и как талантливый организатор.

Партия и правительство высоко оценили заслуги Х. Байлиева в области народного образования и развития туркменского языкознания, наградив его орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалью, двумя Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Туркменской ССР.

³ Проект этих добавлений, составленных Х. Байлиевым, обсуждался 28 октября 1937 года на общем собрании Института языка и литературы. См. Рукописный фонд Института языка и литературы им. Махтумкули АН ТССР, папка № 220.

² Им были начаты, например, исследования о путях формирования сложного предложения в современном туркменском литературном языке и некоторые другие.

Научные работы Х. Байлиева не потеряли своего значения и в наши дни. Издательством «Ылым» готовится к печати однотомник избранных трудов Х. Байлиева, куда, помимо основных работ ученого, войдут очерк о его жизни и научно-педагогической дея-

тельности, перечень опубликованных работ, список литературы о нем и указатель основных дат его жизни.

М. Соегов

СОДЕРЖАНИЕ

СТРУКТУРА И ИСТОРИЯ ЯЗЫКА

- А. Н. Кононов* (Ленинград). Семантика и функции глагольной связки *tugur > -tugur/-dugur > -tur/-dur > -tu/-du > -t/-d* 3

ЯЗЫКОВЫЕ СВЯЗИ

- В. Д. Аракин* (Москва). О тюркизмах в языке новгородских грамот на бересте 14

ОНОМАСТИКА

- А. Гусейнзаде* (Баку). Об одном топониме Апшеронского полуострова («Дуванны») 20

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

- С. С. Ким* (Ташкент). К проблеме совершенствования русско-национальных словарей 25

СООБЩЕНИЯ, ОБЗОРЫ

- В. Г. Кондратьев* (Ленинград). Основные тенденции развития в морфологическом строе тюркских языков 31

- А. Маггазиев* (Фергана). О роли письменно-литературной традиции в формировании и развитии современного узбекского литературного языка 37

- Г. Н. Зикриллаев* (Бухара). Компонентный анализ синтетических форм прошедшего времени в узбекском языке 46

- Э. Ф. Ишбердин* (Уфа). Ударение и система гласных башкирского языка 55

- Ф. С. Сафиуллина* (Казань). Функционально-семантическая категория утверждения и отрицания 59

- Л. Ш. Арсланов* (Елабуга). Роль экстралингвистических факторов в формировании татарских говоров Волгоградской, Астраханской областей и Ставропольского края 68

- Р. А. Турабаева* (Ташкент). Лингвистические особенности прагматического аспекта перевода с английского языка на узбекский 75

- Н. Кудачина* (Москва). К этимологии слова «бай» в алтайском языке 82

- Р. Г. Ахметьянов* (Казань). «Лес», «дерство» и «барс» у тюрков 87

РЕЦЕНЗИИ

- В. Х. Хаков* (Казань). *Х. Р. Курбатов*. Татарская лингвистическая стилистика и поэтика 96

- У. Д. Доспанов* (Нукус). *Г. Х. Ахатов*. Татарская диалектология (1977); *Г. Х. Ахатов*. Татарская диалектология (1979) 98

- Р. Г. Азнагулов*, *Т. А. Кильмухаметов* (Уфа). *А. Х. Вахитов*. Башкирский советский роман 100

- Э. Н. Наджиб* (Москва). *М. А. Усманов*. Жалованные акты Джучиева Улуса XIV—XVI веков 103

PERSONALIA

- М. Соегов* (Ашхабад). *Ходжамурад Байлиев* 107

CONTENTS

STRUCTURE AND HISTORY OF LANGUAGE

- A. N. Kononov (Leningrad). Semantics and functions of verbal copula *turur* > -*turu/-duru* > -*tur/-dur* > -*tu/-du* > -*t/-d* 3

LANGUAGES IN CONTACT

- V. D. Arakin (Moscow). On turkisms in language of Novgorod charters on the birch bark 14

ONOMASTICS

- A. Guseinzade (Baku). On a certain toponym of the Apsheron Peninsula («Duvanny») 20

DISCUSSIONS

- S. S. Kim (Tashkent). Towards problem of perfection of the Russian-National dictionaries 25

REPORTS, SURVEYS

- V. G. Kondratyev (Leningrad). Basic tendencies of development of morphological structure of the Turkic languages 31
- A. Matgazyev (Fergana). Role of written literary tradition in forming and development of the Uzbek modern literary language 37
- G. N. Zikrillayev (Bukhara). Componental analysis of synthetical forms of past tense in the Uzbek language 46
- E. F. Ishberdin (Ufa). Stress and system of vowels of the Bashkir language 55
- F. S. Safiullina (Kazan). Affirmation-negation as a functional semantic category 59
- L. Sh. Arslanov (Elabuga). Role of extralinguistic factors in forming of the Tatar subdialects in Volgograd, Astrakhan regions and Stavropol Territory 68
- R. A. Turabayeva (Tashkent). Linguistic peculiarities of pragmatic aspect of translation from English into Uzbek 75
- N. Kudachina (Moscow). Towards etymology of the word «baj» in the Altai language 82
- R. G. Akhmetyanov (Kazan). «Wood», «tree» and «snow-leopard» from the point of view of turks 87

REVIEWS

- V. Kh. Khakov (Kazan). X. P. Курбатов. Татарская лингвистическая стилистика и поэтика 96
- U. D. Dospanov (Nukus). Г. X. Ахатов. Татарская диалектология (1977); Г. X. Ахатов. Татарская диалектология (1979) 98
- R. G. Aznagulov, T. A. Kilmukhametov (Ufa). А. X. Вахитов. Башкирский советский роман 100
- E. N. Nadzhip (Moscow). М. А. Усманов. Жалованные акты Джучиева Улуса XIV—XVI веков 103

PERSONALIA

- M. Soegov (Ashkhabad). Khodzhamurad Bailiyev 107

Технический редактор *Б. А. Абдуллаев*

Рукописи не возвращаются

Корректоры *Ф. М. Джавадова, А. А. Гусейнова*

Сдано в набор 20/X-1980 г. Подписано к печати 12/III-1981 г. ФГ 26160. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Бум. л. 3,5. Физ. печ. л. 9,8. Усл. печ. л. 11,2. Уч. изд. л. 10,4.
Заказ 8514. Тираж 3150. Цена 1 руб.

Типография издательства «Коммунист», ул. Авакяна, 529 квартал